Молодость

альманах

1936

Молодость

Литературно-художественный альманах
молодых писателей Восточной Сибири



ВОСТОЧНОСИБИРСКОЕ КРАЕВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИРКУТСК—1936

От редакции

Авторы альманаха «Молодость»—молодые, начинающие писатели Восточносибирского края. Тракторист зерносовхоза, работники редакций районных газет, красноармейцы, студенты вузов—вот люди, чьи произведения объединены в этой книге.

Каждый из этих авторов имеет свои творческие особенности, каждый из них по своему подходит к выбранной теме, к ее разработке, но всех их роднит одно чувство, чувство искренней горячей любви к нашей великой родине, страстное желание в стихе, в рассказе показать нашу радостную, счастливую жизнь, показать образ нового человека.

В произведениях, помещенных в альманахе, часто еще чувствуется неопытная рука. Авторам предстоит огромная работа над собой. Первые шаги, сделанные ими, должны еще сильнее укрепить желание бороться за овладение высотами литературного мастерства.

Краевое издательство и правление Союза Советских Писателей Восточносибирского края, выпуская этот сборник, преследуют две цели: во-первых,—подвести некоторый итог работы по выращиванию новых писательских кадров в крае и показать творчество этих молодых писателей читательской массе и, во-вторых,—ускорить разрешение вопроса об их дальнейшей учебе, учебе, которая помогла бы им встать на столбовую дорогу великой советской литературы.

Г. КОРЕШОВ

ПОСЛЕДНЯЯ ПУЛЯ

Та-та-та-та—верещал пулемет. Пах-пах... пах... пах... рассеянно вторили ему ружейные выстрелы. Потом на минуту пулемет и ружья стихали. Тогда за толстостволым дубом вырастала щупленькая фигура японского капитана, а из-за редких кустов цветущего вереска поднимались фуражки солдат с красными околышками и пыльными козырьками.

Не выходя из-за прикрытия, японский капитан взмахивал искристым лезвием сабли и гортанно кричал:

— Банзай!

Солдаты, молча, бросались вперед, но сейчас же торопливо ныряли за вереск. При каждой их новой попытке приблизиться к зубастой каменной баррикаде, громоздящейся на самом краю утеса, отвесно падающего в море, один или двое солдат непременно взмахивали руками и с глухим стоном, тяжело и мертво, опускались на землю.

Партизаны, укрывшиеся за скалистой баррикадой, метали пули экономно и расчетливо. Их пули попадали в предназначенную живую мишень с механической точностью.

Но был бы несказанно удивлен и разгневан капитан Сакегава, если бы знал, что противником, удерживающим его отряд на значительном расстоянии от баррикады, был только один человек—молодой партизан, почти мальчик, белобрысый и веснушчатый, с игольчатыми волосками едва пробивавшейся бороденки.

Афанасий Бутырцев остался один! Четыре его товарища, как и он добровольно вызвавшиеся задержать японский отряд, пока раненые партизаны не будут переправлены с берега на шхуну, лежали поблизости, тихие и недвижные, в тех неестественно скорчившихся позах, в каких настигла их смерть.

Примостившись на самом краю утеса, за беспорядочно навороченными каменными глыбами, Бутырцев изредка поглядывал на море, где, покачивая ветвистыми мачтами, играла на легкой волне остроносая шхуна. Афанасий различал шлюпку, пляшущую у борта шхуны и на ней—торопливые фигурки людей. Он знал, что это была последняя шлюпка, отчалившая к шхуне с ране-

ными партизанами и что скоро шхуна, затрещав мотором, уйдет вдоль берегов и скроется за мысом.

Мысленно Бутырцев прощался с боевыми товарищами, желая им счастливого пути, потому что знал, что с ними больше никогда не увидится. Скатиться к морю по скалистой тропинке, по которой спускали раненых, было уже невозможно: там с цоканьем прыгали по камням пули японского пулемета.

Та-та-та-та... Пах-пах... пах... пах...

Прислушиваясь к выстрелам, Бутырцев следил за действиями врагов через отверстия между камнями. Пригибаясь ниже при свисте пуль, Афанасий ползал за баррикадой от одной «бойницы» к другой, стараясь стрельбой с разных мест внушить врагам, что их, партизан, все еще много! Выждав удобный момент, он вскидывал винтовку и медленно оттягивал курок. Вспыхивал выстрел и легкая пуля прошивала насквозь одного из врагов.

— Это за Сережу Лазо!—шептал Афанасий, проглатывая соленую каплю пота, скатывавшуюся с переносицы на краешек сухой губы. И, блестя глазами, он вновь впивался взглядом в мушку ружья.

«Сражаясь» с японцами, Бутырцев много раз менял обоймы. Он стрелял за Костю Суханова, за своих убитых товарищей— тех, что погибли возле бухты Ольга и тех, что лежали тут, рядом с ним. И хотя все выстрелы были удачны, Афанасий не был удовлетворен.

Он крутил дуло ружья и так и этак, стараясь пригвоздить японского капитана, почему-то особенно ненавистного ему. Но хитрый капитан предпочитал все время оставаться под прикрытием дуба. Раз он все же вышел на открытое место, но только Бутырцев нажал курок, как перед капитаном вырос солдат и сейчас же упал, пораженный пулей, которая предназначалась совсем не ему.

А капитан вновь укрылся за дуб.

Ожесточенно выругался Афанасий и угрожающе подумал:— Все равно, не уйдешь от меня!

Но вдруг Бутырцева охватило беспокойство:

— Только бы не просчитаться,—скрипнул он зубами,—последняя пуля—моя!

В винтовке у него была последняя обойма и последнюю пулю он решил оставить для себя, ибо и в мыслях не было у него, чтобы отдаться в руки врагов живым.

— Нет, дудки, меня-то вам не заполучить,—подумал Бутырцев и рванул затвор. Глаза его округлились и румянец сбежал с лица. В магазинной коробке был только один патрон—последний.

— А капитанчик жив,—почти растерянно прошептал Афанасий.—Как же это я просчитался?

В этот миг юный партизан услышал гортанный крик:—Банзай! Японцы вновь бросились в атаку.

Бутырцев уже взмахнул рукой, готовый сунуть дуло винтовки в рот, как вдруг в щель своей баррикады во весь рост увидел японского капитана. Размахивая над головой тонкой саблей, он бежал впереди всех, озлобленный и страшный.

— Ах,—простонал Бутырцев.

На размышления времени не было; нужно было кончать с собой, но Бутырцев медлил. Он смотрел на приближающегося с криком капитана, отчетливо видел его лицо, морщинистое и желтое, как печеное яблоко. Когда же на груди капитана он различил темную ленточку и блестящий жетон медали, Афанасий не смог устоять против великого искушения и сунул дуло ружья в щель баррикады.

Перехватив дыхание, Афанасий навел мушку ружья на грудь капитана, чуть пониже медали и плавно спустил курок. Грянул выстрел и Бутырцев увидел, как офицер выпустил саблю из рук и грузно осел на подогнувшихся коленях.

— Есть, капитан!—хрипло крикнул Бутырцев, вскакивая на ноги. Горло его внезапно пересохло.

Метнув быстрым взглядом на распростертые тела товарищей, Афанасий разбежался и прыгнул с высокого, отвесного утеса в поющий морской прибой.

В этот же миг партизанская шхуна, о которой Бутырцев забыл в последние минуты, скрывалась за мысом.

...С примкнутыми к ружьям холодными штыками японские солдаты бежали к безмолвной скалистой баррикаде. Впереди них не было капитана Сакегава.

ТЯЖЕЛОЕ СЛОВО

Моросило... Над Амурским заливом беспокойно метались глухие клочья тумана. Усиливающийся ветер рвал их на мелкие части и пепельными дымками взбрасывал вверх. Из глубины залива поднимались тяжелые, крутые волны. По мере приближения к берегу они меняли свой темно-стальной цвет на грязно-желтый. Обгладывая прибрежные камни и шумно пережевывая песок и гальку, волны с каждым разом забегали все дальше и дальше, смачивая сушу своей соленой слюной. Противоположного берега залива, сопки которого отчетливо вырисовывались в ясную погоду, не было видно. Над мглистым горизонтом сгущались трепетные виденья тайфуна, внушающие смутное беспокойство и тревогу.

В Семеновском ковше пока было относительно тихо. Тупорылые шаланды, прогонистые кунгасы и вертлявые буксирные катера поскрипывали снастями, швартовали концами и с безразличным видом лениво терлись борт о борт. А люди в разных выражениях и на разных языках ругали непогоду и зло и сумрачно смотрели на залив. Только седой Пак, шкипер одной из шаланд, не ругался. Он знал, что руганью невозможно прекратить ветер и остановить волны. Если бы это можно было сделать, то старый шкипер, наверное, не поскупился бы на бранные слова. Пак молча смотрел с каменного волнореза в мятущуюся мглу.

«Ну, что, старик,—мысленно обращался он к поседевшему от ярости заливу,—не хочешь, чтобы твой приятель вышел в море? Сердишься? Плюешь в лицо старому Паку? Не хорошо!»

Пак Са-ир вытер рукавом ватного стеганого пиджака лицо, забрызганное морем, и повернулся спиной к взбешенному заливу. Лицо шкипера, выдубленное солью моря, обожженное солнцем и изрезанное острыми норд-остами, ничего не выражало. Зато в глазах шкипера, запрятанных под сморщенные створки век, были нетерпенье и решительность: Пак Са-ир решил выйти в море.

Да другого решения у шкипера и не могло быть. На этой стороне Амурского залива Пак очутился совсем не по своей прихоти и уж совсем не из любопытства лишний раз взглянуть на

шумный город. Его послали с промысла во Владивосток за новым магнето для катера. Со старым испорченным магнето катер не мог работать. А катер нужен был промыслу так же, как магнето нужно было для катера, чтобы он сдвинулся с места. В особенности же катер был там необходим именно сейчас, в непогоду, когда он должен был собирать в море шаланды, обремененные уловом, и торопливо отводить их к промыслу, где они были бы в безопасности от тайфуна. Это хорошо понимал старый Пак Са-ир.

«На промысле ждут меня»,—думал он, шагая по скользким камням волнореза,—«я должен торопиться...»

Но вдруг Пак остановился. В ушах его свистел ветер, и волны гулко подкатывались к его ногам, словно одержимые жгучим желанием схватить его за ноги и увлечь в свою жуткую пучину. Шкипер посмотрел вдоль волнореза, туда, где был неширокий выход из ковша в залив. Он увидел кипящую воду и камни, обрызганные пеной, как известью.

«Трудно будет выйти без катера»,—мелькнула нерадостная мысль у шкипера,—«был бы буксир...»

Пак Са-ир снова пошел. Не доходя до своей шаланды, он повернул направо и остановился около отшвартованного катера. На носу катера, упершись поясницей о битинг, стоял рослый малый в полосатой тельняшке.

— Слушай,—обратился к нему Пак Са-ир,—я шаландер и меня очень ждут на промысле. Я везу машину. Надо очень быстро. Но видишь... ветер,—шкипер махнул рукой в сторону залива.—Не выведешь ли ты мою шаланду из ковша?

Рослый малый посмотрел на шкипера, потом перевел взгляд на залив и вдруг, сморщив лоб, сказал:—Нет!—и, прочтя вопрос в глазах Пака, добавил:—Старшина ушел в город...

Лицо Пака вдруг потемнело, потом уголки губ опустились в улыбке. Не сказав ни слова, старый шкипер пошел дальше.

«Боится»,—подумал он о рослом малом. Ведь Пак отлично знал, что этот малый и был старшиной катера. Прежде, чем обратиться со своей просьбой к старшине другого катера, Пак Са-ир подумал:

«В море сейчас опасно... Тайфун. Большой ветер. Если люди не хотят выходить из ковша с мотором, могу ли я выйти в залив с веслами и парусами?» Шкипер поколебался. «Все равно, если шаланду выбросит на берег, я не доставлю магнето на промысел...» Но внезапно шкипер плотнее сжал сухие, тонкие губы. «Нет, я должен это сделать. Меня ждут!» Ему стало стыдно своих мыслей: ты трус, старый Пак,—сказал он самому себе.—Только трусы боятся тайфуна.

И, сказав это, Пак Са-ир еще глубже втянул свою седую голову в сутулые плечи и как будто стал еще сутулее и ниже. Казалось, тяжесть этого слова—трус—гнула его к земле. Во всяком

случае оно непомерно тяжелым балластом вдруг легло на его сердце.

Пак Са-ир приблизился к другому катеру и окликнул человека, распутывающего на палубе стальной трос. Тот повернул к Паку рябое широкое лицо и, не разгибая спины, спросил:

— Чего тебе надо?

— Старшина есть?—осторожно спросил шкипер.

— Есть!—ответил тот.

— Позови,—попросил Пак.

Через минуту на бак вышел старшина, молодой смуглолицый парень в синей робе и высоких до бедер резиновых сапогах, «уши» которых болтались у него при ходьбе. На груди парня алел кимовский значок.

— Ты—молодой парень, но это ничего,—обратился к нему шкипер, щуря глаза,—ты мне можешь помочь. Надо вывести из ковша в залив мою шаланду, я должен быстро итти на промысел, на ту сторону,—Пак кивнул головой на залив.

— Зачем тебе итти в такую погоду?—удивленно спросил старшина, присаживаясь на корточки и вытягивая короткую шею в сторону шкипера.

— Я везу машину для катера. Очень надо... А ты меня только отведешь от берега. Потом я подниму паруса...—проговорил Пак, не спуская глаз с молодого парня.

— Гм, вот дело!—выслушав шкипера, пробурчал старшина и поднялся на ноги. Он смотрел на грозный, гулкий залив, и лицо его принимало озабоченное выражение. С ответом старшина медлил.

— Ты боишься?—неуверенно спросил шкипер. Лицо молодого парня вспыхнуло и голубые глаза заволоклись туманом. Он в упор посмотрел на старого шаландера.

— Да, я боюсь за тебя, старик,—медленно произнес он,—за тебя и за твою посудину, чего доброго накроетесь к чортовой матери.—Потом он вдруг быстро спросил:—А где твой промысел?

— Там,—рукой Пак показал на невидимую другую сторону Амурского залива,—Каменистый мыс.

— Каменистый, говоришь,—повторил старшина.—Да, место поганое. Знаю,—про себя парень прошептал,—отвез бы твою чортову машину на катере, да приказ—завтра сниматься.—Потом он опять спросил шкипера.—Может, завтра утром можно махнуть на промысел? Я бы тебя отбуксировал.

Вместо ответа шкипер вздохнул:

— Хорошо,—сказал он,—если боишься, то не надо... ты молодой, а трус.—И Пак Са-ир пошел к своей шаланде. Старшина его не окликнул. Он только хитро усмехнулся.

...Команда шаланды Пак Са-ира состояла из его учеников и многолетних соплавателей. Они доверчиво и просто отнеслись к приказанию своего шкипера готовиться к выходу в море. Когда шаланда была отшвартована, и якорь, брошенный посредине ков-

ша, выбран, Пак Са-ир, стоявший у руля, вдруг услышал за спиной уханье и треск «Болиндера». Он обернулся. К шаланде подходил катер, и молодой, обветренный старшина, высунувшись из рубки, кричал старому Паку:

— Зачем, старик, ты меня обидел? Готовь-ка буксир, старик!

Сумрачное лицо шкипера мигом прояснилось и он по-отечески ласково улыбнулся старшине.

— Буксир!—коротко кинул Пак своим молодцам.—Живее!

Строгое лицо шкипера улыбалось. Глаза довольно щурились. Руки уверенно лежали на толстом румпеле массивного деревянного руля. Шкипер внимательно следил за катером, предупреждая каждый поворот его кормы. А катер, попыхивая синим вонючим газом, быстро тащил шаланду Пака к воротам ковша.

Рыжие волны гулко кипели и неистово били в тупой нос и крутые борта шаланды. Скрипел руль. Высокие мачты дрожали и вычерчивали в воздухе сложные иероглифы. Шаланда Пака то падала в пропасть, то взлетала на неистовые гребни волн, и тогда казалось Паку, что верхушка задней мачты непременно зацепит за сизое небо. Впереди шаланды кувыркался буксирный катер. Но вдруг он круто развернулся и пошел в сторону. В тот же миг за кормой катера плеснулся в воду отданный буксир. Шаланда Са-ира была уже далеко от берега.

— Паруса!—дико крикнув, скомандовал шкипер.—Эй, паруса!

Когда катер, повернув, промчался мимо борта шаланды, Пак Са-ир увидел улыбавшееся лицо молодого старшины, выглядывавшего из рубки. Напрягая всю волю своих легких так, что бурые жилы вздулись на шее, Пак крикнул старшине:

— Ты больше не трус! Ты большой комсомолец! Спасибо!

Пак не знал, услышал его молодой парень или нет. Скорей всего, что нет, потому что вокруг завывал черный ветер и грохотал лиловый залив. Но теперь шаланда Пака с поднятыми парусами неудержимо неслась вперед и, казалось, никакие буксиры, уцепившись за корму, не могли бы ее остановить.

Пак стоял у руля мокрый и суровый. Но он больше не сутулился. Казалось, огромная тяжесть свалилась с его плеч. На сердце тоже было легко.

«Нет, ты не трус, старый Пак»,—беззвучно шептал шкипер, крепко сжимая румпель.—«Вот кто трус—залив!»—Пак плюнул через борт.—«Видишь, как он дает тебе дорогу...»

Крутые, вздыбленные волны Амурского залива расступались перед тупорылой шаландой Пак Са-ира.

И. РОСЛЫЙ

ДРУЖБА

На западе нарастало розовое полымя. Бледнело небо. Потемнели зазубрины Уровских гор. Провалами зазияли Кудеинские ущелья. Перестала сверкать в долине извилистая река Аргунь.

Они смотрели за Аргунь, за границу, на темные корявые сопки... С высокого перевала хорошо видно было, как длинные тени ложились от сопок и плясали в угрюмых падях.

Над увалами, заросшими кривыми березками, нависло синее облачко дыма. У темного берега реки выделялось что-то похожее на груженые телеги.

— Дымок-то видишь? Э-вон...—Егор Дворкин, колхозник, крепкий еще старик, показал за границу.—Видать военные обозы в Шиосян, никак опять снаряжение везут.

Он говорил спокойно, с грохотком в голосе, чуть улыбаясь в золотистую широкую бороду. Это была его манера, когда в голову приходила крутая мысль.

— Не люблю воевать. Што война? Убийство человека и сплошной убыток народу...

Собеседник—молодой пограничник Семен Ковалев—слушал его внимательно, возражал редко, но так метко, что дед Егор, как он его звал, покачивая головой, замечал одно и тоже: «хитро!»

— Вот говоришь ты не любишь воевать... А кто любит? Надо знать, отчего война и кто с кем воюет. Ты защищать колхозное добро готов?

— Оно понятно, защищать буду. Как не быть. Японский буржуй прет, а впереди белогвардейчик. Понятно...

— Значит, защищать, а не воевать. Так выходит?

— Так. Хитро! Это верно, беспокойствие у них выпирает наружу. Бывает не спится мне ночью. Лежу и думаю: как бы чё на скотном дворе не случилось. Поднимусь, пойду. Ночь тихая. Звезды. Обойдем со сторожем стайки. Жеребцов посмотрим. Едят, похрустывают. Ну, сядем на бревна, покуриваем, словами перебрасываемся. От сараев теплый пар валит. Хорошо так...

И вот, завоет... Волк? Собака? Нет, брат, человек воет, за Аргунью. Воет и причитает: «комуния... ограбили»... Узнаем по голосу—наш Записинский, кулак, Никеша Сизых, в двадцатом году с беляками за границу сбежал. Большие табуны лошадей его батраки пасли. Село в ежовых рукавицах держал.

Дед Егор тяжело вздохнул. Налил себе из фляги Семена теплого чая и взял шаньгу.

— Ешь Сеня, вот, сальца бери,—ласково произнес он.

— Спасибо, я уже.

— Да...—В голосе Егора прозвучало сожаление. Он оторвал взгляд от за границы и посмотрел на лошадей. Низкорослая Монголка деда Егора подошла к красивому тонконогому Гнедко Семена. Лошади понюхались. Фыркнули и снова принялись аппетитно пощипывать зеленую травку.

— Ишь ты, подружились... Братаны,—ласково проговорил и, меняя голос:

— Да... Жаль гада не встретил.

— Про кого это?—спросил Семен. Он знал всю подноготную деда Егора. Но тут особый секрет был. Они несколько месяцев как подружились. Не раз вместе выезжали в район. Семен заходил к Егору на дом в свободное от службы время. За чашкой чая книжки читал.

Дед Егор не ответил. Он поднялся и, сурово посмотрев в сторону границы, быстро начал собираться.

— Ну, вот и подкрепились,—сказал он, поправляя шапку. Пупырчатый бронзовый шрам наискось пересекал его лоб от правой надбровницы к седеющему чубу.—Поедем, штоль? Вечереет.

До заставы и села шенкелевать еще пятнадцать километров. Семен вез на заставу спешный пакет, а Егор,—огородные семена из райзо.

Вскинув через плечо карабин, Семен скользнул по загорелому скуластому лицу Егора, обвеянному злыми забайкальскими северяками и беспощадными монгольскими суховеями и как-то участливо и душевно сказал:

— Полоснули тебя.

Егор глубоко вздохнул. Они сели на лошадей и дед Егор заговорил:

— Чуть жизни лишиться не пришлось в двадцать девятом. Белокитайцы и белобандиты чертополох подняли. Начали стрелять из-за границы по селу. Застава наша, пограничная, жидкая была тогда. Мы организовались на подмогу.

Егор тяжело вздохнул. Ему трудно было от волнующих воспоминаний. Лошади шли шагом.—На четвертый день конфликта Аргунь застыла. Они явились когда петухам петь. Я в засаде сидел. Рядом Кульбеда,—осужден теперь. Слышу хрустнуло. Льдинки зазвенели. Хочу предупредить Кульбеду. Голосу пода-

вать нельзя. Он от меня в пяти шагах. Я приготовился. Прямо на меня осторожно идет человек с той стороны. Я к Кульбеде, шопотом: «Возьмем его живьем». А он громко: «Чего, Егор Кузьмич?» После я понял, нарошно он крикнул. Я выругал его, да к человеку. А на меня—электрический фонарик. Я оторопел. Эх! Егор Кузьмич, услышал я знакомый голос. И тут меня ожог по голове удар. Пришел в себя только утром. Думал: череп у меня лопнул. Ничего. Ожил вот... А наши налет отбили.

Они давно спустились с перевала, одетого в зеленый ковер, расписанный белыми тюльпанами, и свернули от скалистого берега Аргуни. Ехали теперь километрах в пяти от границы, дорогой, пересекающей падь, густо заросшую кедрачом и ельником.

— А кто же был-то?

Егор нахмурился. В светлых его глазах загорались искорки.

— Я никому не говорил... Надежду питал,—поймать его. Караулил.

Семен достал папиросы. Закурили на ходу. Егор дернул повод Монголки и она пошла рысью, вихляя задом. Дед Егор ловко сидел в казацком деревянном седле с высокой лукой. Он молодецки выгибал спину. Охотничье ружье, с которым он никогда не расставался, плотно прижималось к спине.

«Вот, он, забайкальский казак»,—подумал Семен и, дав шенкеля Гнедку, вышел вперед Егора. Минут пятнадцать они шли на рысях.

— Ну, Сеня, езжай шажком, а я маленько оправлюсь и догоню тебя.

Егор слез и привязал лошадь к сосенке.

Семен ехал шагом. Дорога вилась между скал.

В эту пору года сеяли овсы. Наступало лето. Буйно вырывалась на свободу зелень. Придорожные кусты смыкались в непроницаемую чащу. Молодой сосняк взбирался на отвесные стены скал. Спускалась вечерняя тишина.

Семен снял с плеча карабин. Просмотрел заряд. Лошадь иногда пофыркивала и шагала кавалерийским шагом. Он вслушивался в тихие шорохи. Так он ехал минут десять. Егора все не было. Дорога уходила за высокий утес.

Ползучие кедрачи карабкались по его уступам. Дорога жалась к утесу, вилась над обрывом. Семен уже повернул за выступ утеса, проехал шагов полсотни. Вдруг произошло необычайное. Будто бы грянул гром. Гнедко присел на задние ноги, как-то странно закряхтел; попытался приподняться, но свалился набок и чуть не скатился в пропасть. Семен упал на левый бок, стволом карабина ударив о каменистый грунт дороги. Он легко высвободил ноги из стремян. Красный туман застилал глаза. Машинально передернул затвор. Убедился, сделал напрасное движение. На него обрушились. Он заметил искаженные злобой, позеленевшие лица, желтого цвета одежду и маузеры... Белобандиты

в мгновенье навалились. Пытался освободиться. Схватили за карабин; выстрелил в воздух. Завязалась неравная рукопашная схватка...

Егор проезжал мимо заросшей тропинки, напомнившей о борьбе партизан с белогвардейцами. Красные партизаны протоптали ее когда-то на утес, в засаду. Тропинка сокращала втрое путь. Пройти по ней могли привычные к скалам и сопкам люди и лошади.

Егор услышал выстрел... Остановился... Определил место выстрела и, смекнув, поворотил на тропинку. Последовал второй выстрел. «Что-то есть». Егор слез с лошади и, придерживая повод на ходу, приготовил ружье. Быстро взбирался на утес. Самые невероятные мысли одолевали Егора... «Мало-ли из-за камня стреляли бандиты пограничников... Колхоз пытались развалить... А если Семен стреляет козу... Не разрешено...»

Взглянув вниз, понял все. Он привязал лошадь, цепляясь руками и ногами за кедрачи и уступы, осторожно стал спускаться вниз. До места схватки оставалось расстояние выстрела дробового ружья зарядом картечи, который мог ударить без промаха. Но кто был там?

— Теперь не крикнешь, красно ж... сволочь,—услышал Егор злой голос.

— Перетащим его живьем в Двуречье...

«Белобандиты»—решил Егор и стал выбирать удобный случай.

Они связали Семена. Втроем лихорадочно схватили его и потащили с дороги в кусты. Егор хорошо рассмотрел их коренастые фигуры в гимнастерках цвета хаки. «Это неоспоримо были белобандиты, японские шпионы, им выгодно перетащить советского пограничника за Аргунь»,—думал Егор и накипала злоба, но стрелять из дробовика нельзя: можно сгубить Семена. Бандиты знали хорошо местность, распадки и чащи. Они спустились к ручью и, чтобы замести следы, с километр шли по каменистому руслу ручья впадающего в Аргунь. Следов не оставалось. Через пятнадцать—двадцать минут наступят сумерки. Они подождут в километре от границы. Наступит ночь и с ценной добычей переправятся через Аргунь.

Шли торопливо, осторожно, как звери, озираясь по сторонам. Двое держали за бичовки, которыми был крепко скручен Семен.

Семен ругал себя за горькое случившееся. Обида за неосторожность жгла сердце—секретный пакет попал в руки врагам. Вглядывался в безмолвные кусты: не появится ли Егор? Где он? Или на секрет набредут. Надо шуметь. И нарочно наступал

на сухие ветки, с треском ломал их, шелестел травой, пытался кричать. Тогда его били сзади. Без стона переносил глухие удары рукоятками маузеров. И ничуть не жалко было себя. Не страшна смерть... Почему-то как на экране пронеслись лица товарищей погранзаставы и друзей юношества на заводе.

Вспоминался вечер, проводив его в отряд, мать, отец, ребята и девушки... Ему сказали:

— Смотри, не дрогни, Семен, в нужную минуту, не подкачай уж там. Не позорь наш коллектив.

Он рванулся и головой сбил переднего. Сзади его ударили в голову. Семен упал на землю, задыхаясь, пытался освободить от повязки рот, чтобы закричать. Не удалось. Ему сели на спину и стали бить по голове. Он потерял сознание.

А Егор не упускал из виду белобандитов. Он ругал себя за оплошность.

Молодая бодрость и казацкий дух, как в годы красного партизанства, наполнили его. Прячась за кустами и за камнями, бесшумно выслеживая врагов, он увидел, как двое били лежащего Семена. Третий в стороне вытирал платком пот со лба.

Выстрел был удачный. Белобандит, как на параде взмахнул платком, упал в зеленую траву. Произошло замешательство. Белобандиты начали беспорядочно стрелять. Егор засел за свалившимся огромным деревом. Выждал и выстрелил в цель. Заряд попал в живот одному из бандитов. Третьего Егор решил взять живьем. Прыгая через валежник, прячась в кусты, он бросился бежать по направлению к Аргуни. Егор кинулся наперерез.

Столкнулись лицом к лицу. Первое мгновенье стояли молча, рассматривая друг друга.

— Ты?

Егор узнал Никешу Сизых по черным выпуклым глазам и трясущейся нижней губе. Никита стоял, опустив руку с маузером, а губа его, обритая наголо, смешно дрожала как и раньше, когда он бил своего батрака за какую-нибудь оплошность в уходе за лошадьми. «Трясучка» звали его на селе. Но это не прошлый Никеша. Гимнастерка из тонкого японского сукна, перетянутая ремнями бинокля, сумки, патронташа, и дикие огоньки в глазах, обреченность, тоска, испуг. В прошлые годы в них сверкало повеление, гордость, веселье.

Егор плюнул, опустив ружье стволом вниз.

— Егор Лукич, век буду помнить эту встречу.

Трудно было понять, просьба или угроза крылась в этих словах.

— А это видишь?—Егор сорвал шапку, обнажил лоб пересеченный бронзовым шрамом.—Вот!

— Не убил... Докончу,—Никеша взмахнул маузером.

— Посмотрим...

Егор одним прыжком очутился вплотную к Никеше и выбил ударом ствола из руки его маузер. Выстрел произошел на лету в землю.

— Живьем тебя на заставу гада приволоку. Ну!—строго крикнул он.—Марш!

Никеша бросился на Егора, схватил за горло. Силы были не человечьи. У Егора в глазах потемнело, он задыхался и выпустил ружье. А противник впивался руками в горло. Вот он опустил одну руку, сильно ударил в лицо и стал отстегивать браунинг. Егор воспользовался ослаблением шеи, перехватил воздуха и нанес Никеше в лицо удар.

Они свалились на землю, беспорядочно били друг друга, кусали, рвали одежду, лицо. Никеше удалось выхватить нож, придавить Егора к земле, он готов был ударить ножом. Егор безнадежно ловил его руку и не мог, заранее ощущая боль и неизбежный удар в сердце—его разрывала ненависть. И вдруг Никеша странно замычал и размяк. Егор схватил его за руку—она упала без силы. Над ними стоял Семен. Егор поднялся.

— Сеня?

— Я, дед Егор.

Егор обнял Семена. Конвульсивно вздрагивая, на земле распластался Никеша. Егор тряхнул бородой.

— Вот мы и встретились.

Никеша перевернулся на спину. Простонал.

— Жив еще курилка,—строго отчеканил Семен.

Смеркалось. На небе загорались звезды. Спускалась хорошая, ядреная ночь. Тихо шуршали кусты. Десятки электрических фонариков окружали их... Это были свои, приехавшие на выстрелы с заставы и полевого стана колхоза. Вдали жалобно заржала раненая лошадь Семена, ей откликнулась Монголка.

А. СТРЕКАЛОВСКИЙ

ДРУГ ИЛИ ВРАГ

Запах прелых листьев смешивался с запахом травы, начинающей побеждать высохшие прошлогодние стебли. Перед глазами Фильшина по надломленной травинке ползет жучок, загораживает тропинку, а Фильшину не хочется сбросить его. Солнце сквозь прожженную у костра старую английскую шинель приятно греет спину. Вокруг Фильшина неугомонный звон кузнечиков, под который у него бродят мысли об оставленных полях, где прошлый год он косил траву. Глядя на ползающего перед глазами жучка, Фильшин вспоминает, как в самый разгар летних работ ему приходилось прятаться в густой высокой траве от наезжавших разъездов японцев и казаков. Мысль о японцах, о том, что они сожгли его избу, изнасиловали жену и убили ребенка, заставляет Фильшина крепко сжать винтовку и с ненавистью, и напряженным ожиданием врага вглядываться вперед на поворот тропинки. Врага он представляет ярко в виде казака с широкой черной бородой, в виде японца в желтоватом мундире с черным ранцем за спиной и с черными точками узких злых глаз.

Часто Фильшин рисует себе картину встречи с таким японцем и всегда эта картина обрывается на том месте, когда, набежав друг на друга, враги сталкиваются в последней схватке, и Фильшин втыкает злобно штык в грудь японца, пониже блестящей медной пуговицы на кармане. Так и сейчас Фильшин видит перед собой черные, как жучки, точки глаз, белый оскал зубов врага, и чувствует сильное напряжение мускулов рук. Неожиданно впереди за поворотом что-то мелькнуло, послышался хруст сухой ветки. Он отозвался толчком в груди, сердце стало стучать слышнее. Осторожно просунув вперед винтовку, Фильшин замер, впиваясь взглядом вперед.

Мелькнуло еще раз белое. Человек, но почему в белом.—Ухо напряженно ловит шум шагов по тропинке.

У обгорелого пня появился человек в белом пиджаке, не торопясь идет он, спускаясь вниз, шея его перевязана платком, в руках белая шляпа. Насторожился Фильшин, тихо оттянул с

предохранителя затвор и осторожно навел мушку. Ползет мушка, наполовину закрывая пиджак, палец чувствует спусковой крючок. Человек приближается, мушка все меньше занимает места на белом пятне. Взглянул Фильшин повыше мушки и от удивления полуоткрыл рот, сами приподнялись брови, винтовка вдавилась в крепко сжатые пальцы: на него шел японец, хотя не такой, каких Егор Фильшин встречал до этого, не в желтоватом суконном френче, не с винтовкой в руках, а в «вольной» одежде.

— Шпион!—мелькнуло в голове и Фильшин злобно крикнул:

— Стой!..

Японец вздрогнул, остановился, не понимая, откуда послышался крик.

— Руки вверх!—снова крикнул Фильшин и встал на колено. Японец увидел Фильшина и приветственно замахал шляпой.

— Руки вверх, тебе говорят!—и Фильшин передернул затвор, от передергивания вылетел и где-то скрылся в траве патрон, досада о потерянном кольнула, но искать нельзя. Не понял, должно-быть, японец, но сошла с губ улыбка и рука со шляпой опустилась.

— Руки вверх!—кричит Фильшин и скользнул взглядом по тропинке до поворота, нет ли еще кого там.

Снова улыбка на лице японца... и медленно поднял он руки, а в одной из них шляпа, как поднятый кверху белый флаг о сдаче в плен. Что делать дальше, не может сразу сообразить Фильшин, но слева и справа почти одновременно послышался треск сучьев, над травой зачернели фигуры партизан: Прокопия Сизых и Василия Шишкина, оба с ружьями наперевес, вглядываясь на японца с поднятой шляпой, подходили к тропинке.

Фильшин, увидя партизан, кивнул им головой на японца и не так уже громко приказал тому:—подходи сюда!

Японец стоял с поднятыми руками и улыбался.

— Вот дьявол, чего зубы скалишь, иди говорят тебе...—закричал, матерясь, Фильшин.

— Да не понимат он,—почему-то шопотом сказал Васька, молодой беловолосый паренек, со вздернутым носом на веснушчатом без усов лице, в белой заячьей папахе с красной лентой наискосок и с шомпольным длинным ружьем, с далеко выдающимся вперед, наподобие штыка, прутом вместо шомпола.

— Откуда его чорт принес,—в тон Ваське так же шопотом добавил Сизых—седой коренастый крестьянин в домашнего сукна армяке, подпоясанным патронташем, с охотничьим ружьем он походил на простого зверовика-охотника. Японец что-то сказал... и оттого, что он заговорил, стало как-то проще.

Фильшин начал действовать по другому, вернее вышел из настороженной неподвижности и слова стал пояснять жестами.

— Иди сюда,—повторил он японцу и, отделив от винтовки руку, махнул к себе. Японец опустил шляпу, подошел.

Сизых и Шишкин тоже подошли ближе.

— Ну-ка, Васька, пройди вперед, осмотри, нет ли кого там еще. Да гляди в оба, не шебарчи шибко.—Васька сначала нехотя вразвалку пошел по тропинке, но через несколько шагов зашагал, пригнувшись осторожно по-партизански.

Японец, показывая белые и золотой зубы, протянул руку, несколько согнувшись в поклоне.

— Ладно, ладно, заздоровался,—зло оборвал Фильшин непонятные перекатывающиеся в горле слова японца.

Выпрямился японец, одел шляпу и, показывая рукой на себя, на тропинку, по которой он шел, заговорил снова какими-то другими не округленными, а острыми, но попрежнему непонятными словами.

— Обыскать его надо,—сказал Фильшин, обращаясь к Сизых, и, пояснив жестами японцу, сделал шаг назад, снова держа винтовку наизготовке. Сизых приступил к обыску, вытащил из кармана японца завернутый в чистый платок пшеничный калач, еще платок, костяную палочку в виде карандаша (вечное перо) с компасом на конце, из других карманов набралось еще, слаживаемое Сизых на большой лиственничной колоде: мохнатое полотенце, мыло в коробочке, баночка с зубным порошком, завернутая в бумагу зубная щетка, бумажник, в котором были какие-то бумаги и немного денег, семеновских, японских, больше ничего не оказалось.

— Ну, ладно, в штабе рассмотрят все. Сложи-ка, дядя Прокопий, это вместях.

Подошел вернувшийся Васька.

— Ну что, ничего не слыхать?

— Нет, не слыхать,—ответил Васька, разглядывая разложенные на колоде вещи японца.

— Ишь ты, в тайге зубы чистишь,—ухмыльнулся Васька, кивая с улыбкой на щетку.

Фильшин, глядя на японца, раздумывал: в штаб отвести его надо, кто поведет-то?—сказал он как бы про себя.

— Я поведу,—живо вызвался Васька.

— Куда ты, со своей пыхалкой,—степенно возразил Сизых и добавил, обращаясь к Фильшину. Веди ты уж, Егор Ефремович, у тебя на случай и ружьишко-то покрепче будет,—кивнул он на винтовку Фильшина.

— Ну, ладно,—согласился Егор Фильшин,—я поведу, а вы тут того, глядите, в случае чего—так не робейте.

— Чего уж робеть-то, не сумлевайся,—ответил Сызых. Хотелось Ваське привести в штаб японца, ох, как хотелось провести его по улице Улеты, но надо слушаться старших и он, подтянув спол-

завшие голенища ичиг, приготовился снова итти на свое место. Сизых свернул вещи японца в чистый платок, подал их Фильшину.

— Подожди, дядя Прокопий, я тут патрон обронил,—сказал Фильшин и, поползав по траве, в том месте, где лежал, нашел и, зложив в подсумок, обратился к японцу.

— Ну пошли, что ли, валяй вперед,—и махнул рукой на тро-инку.

Японец пошел вперед, слегка прихрамывая, Фильшин шага на ри сзади вслед за ним, кинув остающимся «счастливо».

Тропинка спускалась вниз, она извивалась среди высоких ухостойных лиственниц, среди молоденьких свеже-зеленых бе-ез, кустов ольхи и багульника. Часто тропинка пересекалась боль-шими мшистыми колодами поваленных деревьев и приходилось, ысоко поднимая ногу, забираться на расползающие трухлявые олоды. Перед каждой такой колодой останавливался японец и, тановясь сначала на колено, перебирался через нее, а перебрав-шись, оглядывался назад на хмурого партизана.

Фильшин, глядя на прихрамывающего японца, искал в себе увство той большой злобы, которую он всегда испытывал, огда при нем вспоминали про японцев, но сейчас не было такого увства, вместо этого мысли останавливались на стоптанных, изорванных туфлях идущего впереди врага, думалось о том, колько сопок перевалил он в этих рваных туфлях, с выгляды-ающей между шляпой и платком покрытой укусами комаров шеей. И все это заволакивала улыбка. Отпечатывался в памяти омент, когда японец махал шляпой, как хорошему знакомому, споминалась протянутая рука японца и низкий поклон.

Шпион. Насильно оборвал свои мысли Фильшин и, оглядев-шись по сторонам, на густой ельник, сжимающий тропинку, он нял с плеча винтовку и, приоткрыв затвор, посмотрел, есть ли в тволе патрон.

Японец, услыша щелканье затвора, остановился и, оглянув-шись испуганно-удивленно, посмотрел на партизана. Фильшин иахнул вперед рукой—«иди!»

Японец сел на край тропинки.

— Иди!—опять сказал остановившийся Фильшин и снова мах-ул рукой. Японец показал на ногу.—Переобуваться хочешь, то ли?

Японец расшнуровывал туфель. Фильшин наблюдал за ним и о тому, с какой осторожностью его сопровождаемый снимал ропитавшийся кровью носок вместе с туфлем, увидя большое расное, должно быть, саднящее пятно, решил, что японец шел здалека, а тот из бокового внутреннего кармана, не осмотрен-ого при обыске Прокопием Сизых, достал ножичек и, отодрав рилипший к туфлю чулок, отпарывал стельку туфля.

Фильшин, недоумевая, смотрел на сидящего перед ним япон-а, а тот, достав из туфля завернутое в газету, подавал Филь-

шину. Взял в руки партизан газету, развернул, и увидел в руках маленькую в красном переплете книжку. Японец поднял брошенную на траву газету, разгладил ее на коленях и, сложив, показывал то на портрет в газете, то на себя, потом подал газету Фильшину.

Узнал на портрете Фильшин своего спутника, но не прочесть напечатанное не по-русски в газете. Снова осматривает, раскрыв красную книжку, в ней тоже фотография японца, печать с паровозом и непонятные буквы.

Удостоверение, должно быть,—решает Фильшин и, взглянув на высоко поднявшееся солнце, говорит:

— Ну, айда, обед скоро, а еще верстов пять будет,—и, положив в карман себе книжку с газетой, показал жестом, что надо итти.

Японец закивал головой, вывернув носок, осторожно опять одел его и, морщась от боли, натянул туфель, поднялся и, еще более хромая, пошел вперед. Снова остановился, показал на винтовку, на себя и отрицательно помахал рукой.

— Не бойся! У нас без суда не полагается,—ответил на жест Фильшин. И снова шли среди леса, по тропинке, ныряющей под поваленные гнилые, заросшие мхом колоды,—хромающий японец в белом пиджаке и партизан в прожженной старой английской шинели.

Окончился лес, тропинка вывела на склон горы, покрытой высокой прошлогодней травой с редкими чернеющими, тонкими, как удилища, стволами когда-то горевшего молодого сосняка. Сразу почувствовалась жара. Тропинка, теряясь в поваленном сухостойнике, стекала вниз, где у зеленого тальника чувствовался ручей холодной воды. Виднелось село... У ручья снова остановился японец и, показывая на воду, потирал, как бы моя, руки.

— Ладно, умоемся,—сказал Фильшин; здесь он чувствовал себя как дома, там позади остался дозор и застава, мимо которой они прошли. Фильшин не хотел, чтобы японец видел, где расположена застава и поэтому махнул на высунувшегося из-за пня партизана, чтобы тот скрылся. Сев поодаль от японца, положив рядом с собой винтовку, Фильшин достал кисет и стал закуривать, а японец, снова разувшись, лег на траву, смотрел на партизана, выбивающего кремнем огонь. Фильшин, затянувшись и выпустив слабую струю дыма, посмотрел на японца и протянул ему кисет: «закуривай». Японец, улыбаясь, закивал головой и в первый раз произнес понятное слово:

— Спа-а-сибо,—потом показал на ручей, на свои руки, лицо и на торчавший за пазухой у Фильшина сверток его вещей, что-то сказал по-своему.

Понял Фильшин, что просит японец умыться, подумал немного и вытащил из-за пазухи вещи, достал полотенце и мыло японца и протянул ему, тот еще раз сказал:—«Спаа-сибо»,—неловко ступая босыми ногами, подошел к ручью, заворотил брюки

и осторожно обмыл ноги, потом долго мыл лицо, руки и, вымывшись, сложил аккуратно полотенце, завернув в него мыло, положил перед партизаном и еще раз произнес свое «спаа-сибо».

Фильшин думал: вот ведь тоже такой же человек только другой нации и что ему надо в тайге одному. Другое дело попадись он с винтовкой в военной форме, или крадучись идя, а то ведь как домой идет. Удостоверение какое-то показывал, газету, не похож на шпиона—шпионов себе Фильшин представлял прячущихся в кустах, подглядывающих, а при окрике шпион обязательно должен был убегать, а тут вот другое—не поймешь.

И не было уже злости у партизана на этого низенького японца с израненными ногами, то морщившегося от боли, то улыбающегося. А от улыбки у японца от глаз разбегались к вискам три морщинки и от правого виска к уху резче обозначался большой шрам и еще, что бросилось в глаза Фильшину, когда японец подавал полотенце, как бы поднося на ладонях—это следы старых мозолей,—видно из простых,—подумал Фильшин.

Хорошо бы полежать так на пахнущем зеленом ковре, но надо итти. Вдруг, что-нибудь важное узнает комиссар от этого японца и, словно рассердясь на себя, Фильшин быстро поднялся и стал торопить японца.

Снова пошли. Виднеется поскотина, а около нее партизан.

— Чо, паря, япошку залапали. Где?—засыпал он вопросами.

— Из тайги вышел,—ответил наскоро Фильшин, не останавливаясь.

Увидели бегающие по улице ребятишки, залаяли собаки, почуяв чужого, женщина, стоявшая у ворот, всплеснула руками и крикнув:—ой мамоньки, гляди-ка!—подбежала к окну избы и завопила:

— Митришна, гляди-ка, партизанты-то японца споймали!—Распахиваются окна, выглядывают из них женщины, выбегают из дворов, а мальчишки уже толпой вокруг японца и Фильщина и под лай разношерстных собак делятся впечатлениями.

Выскакивают и партизаны, местные крестьяне и следом идут за Фильшиным. У дома, когда-то принадлежавшего богачу Григорьеву, остановились.

У раскрытого окна сидел комиссар Черкашенинов и начальник разведки Поляков. Увидя подходивших, комиссар спросил:

— Откуда?

— Из заставы, с тайги вышел.

— Заходи в штаб,—Фильшин показал японцу на калитку и вошел вслед за ним.

Японец, войдя в помещение, снял шляпу и поклонился.—Садитесь,—показал на стул комиссар.—Еще раз поклонившись, японец сел. Комиссар посмотрел на Фильшина и предложил:

— Ну, рассказывай, как взяли.

Фильшин подробно рассказал и положил на стол отобранные у японца вещи. Комиссар внимательно посмотрел на книжку, на фотографию в ней и сказал:—по-английски тут.

— Инглиш, Инглиш,—закивал головой японец и заговорил по-английски.

— Не понимаю,—говорит комиссар и дал приказание нач. разведки:—вызовите сейчас же комбата Стерна,—и снова японцу:—говорите по-русски?—Улыбается японец, но молчит, не понимает.

Вбежал Стерн, еще молодой стройный комбат, бывший военно-пленный австрийский офицер.—Здорово, Стерн! Ты, кажется, кумекаешь по-английски, вот поговори-ка, да посмотри, что это за документы,—сказал, протянув книжку, газеты и документы, комиссар.

Разобрав переданные ему бумаги, Стерн перевел надпись в красненькой книжке: «член американской ассоциации железнодорожных рабочих Ай-Дабль». Положил на стол документы и подошел к японцу: пожал ему руку. Японец радостно улыбнулся и закивал головой.

— Свой, свой. О, чорт побери,—бормочет Стерн любимую свою поговорку.

— Коммунист, что ли?—спрашивает комиссар.

— Ну да, почти коммунист, чорт побери.

Комиссар протянул руку и сказал единственно знакомое английское слово: Комрайд.

— Комрайд, комрайд,—ответил японец, пожимая руку. Стерн переводит разговор.

Полгода пробирается в Советскую Россию, где-то около Италии его опознали и этапом отправили в Японию, били очень, японец в это время показывал свои шрамы на голове, груди. В Китайском порту он бежал и добрался до Манчжурии, а от Манчжурии до Читы и от Читы сюда пешком.

— Спроси, как питался дорогой-то, как нашел нас?—сыпал вопросами комиссар и, вспомнив, закричал:

— Эй, Поляков, давай чего-нибудь поесть, голоден ведь, наверное, товарищ!?

Японец продолжал говорить.

Егор Фильшин широко раскрытыми глазами смотрел на своего недавнего спутника и картины рассказанного Стерном проносились перед глазами. За несколько тысяч верст, вот этот низенький улыбающийся японец, скрываясь в трюме, плыл через многие моря в Советскую Россию, к Ильичу, его бьют бутылками освирепевшие итальянские жандармы, бьют англичане, и он, вылежав три месяца больной, снова бежит, пробирается по незнакомой стране, не зная языка, скрываясь от своих сородичей, добирается до партизан.

Стерн переводит:

От Читы шел стороной у железной дороги, под вечер выходил на какую-нибудь железнодорожную будку и вытаскивал из туфля красную книжку со своей фотографией, показывал на запад и говорил «Москва», просил есть. И везде его кормили, давали на дорогу хлеба, некоторые старались скорее отправить, некоторые оставляли ночевать. Два раза попадал на разъезды казаков, но те, видя японца, не задерживали его. Около станции Мичада, переездный сторож, имеющий с нами связь, показал ему дорогу. На счастье он ни разу не наткнулся на японские войска. Комиссар решает:

— Завтра же надо его отправить через Могзон в В.-Удинск в штаб армии. Сегодня устроить митинг, пусть он скажет по-английски, а ты, Стерн, переведешь. Идет?

— Да! Только надо подготовиться к этому, поговорить с ним,—и передал японцу решение комиссара.

Японец согласился...

— Спроси как звать-то его,—говорит спохватившийся комиссар Стерну. Стерн узнал: Торо-Иосихаро.

Комиссар повторяет, обращаясь к новому товарищу:

— Компайд Торо-Иосихаро.

Врезается имя в памяти Фильшина, он чувствует какую-то неловкость. Ведь еще так недавно было к этому японцу чувство злобы, а теперь вот он, пришедший из тайги, кажется каким-то родным, близким. Хочется выразить свое чувство Фильшину, но не находит слов, да и нужны ли тут слова.

* * *

Сразу за селом, где начинается выгон, у общественного амбара устроена сцена. Здесь часто, после захода солнца, когда потянет свежим ветерком с реки, донося запах покосов, собираются местные крестьяне-партизаны. Стайками бродят по лугу девчата, заливая смехом и негромкими частушками степенный говор мужиков, сидящих на бревнах, вместо скамеек, у самой сцены.

Это место у амбара стало клубом. Часто комиссар проводит беседы о международном положении, об очередных кампаниях. Здесь сельревком проводит свои собрания. Все привыкли к этому месту и каждый вечер, как только солнце сядет в золотистую пыль у поскотины, тянутся сюда группами крестьяне, девчата, взявшись под руки цепочкой, во всю ширину улицы, с громкоголосой песней проходят через деревню. Сегодня несколько необычно. Босоногий мальчишка на буланой лошади, нетерпеливо колотя босыми пятками по бокам, созывает, подъезжая к каждой избе, всех на митинг. Луг у амбара быстро заполнялся. Прошли роты партизан со своей любимой песней, отряд мадьяр четко шагал в ногу с винтовками на ремнях под незнакомый, не здешний напев, стройно подошел к сцене и, по команде составив

винтовки в козла, сел рядами на примятую траву. На сцене позади стола, закрывая серую стену амбара, переливаясь волнами, алели развернутые знамена.

Петрович деловито расставлял вокруг стола табуретки.

К митингу все готово.

Фильшин, окруженный партизанами, рассказывал о том, как он привел японца. Из деревни подходила группа: комиссар, командир, Стерн и Торо-Иосихаро. Последние двое шли под руку, у японца в петлице пиджака краснел цветок гвоздики, «пятилистный цветок» похож на звезду. Стерн что-то рассказывал ему, показывая на собравшихся. Японец замахал шляпой и в ответ над головами, сначала мадьяров, а потом и всех остальных, закачались фуражки и шапки. Раздалось, уносясь на реку, громкое «ура».

Комиссар уже на сцене. Крикнул: «Товарищи!» и затихшему «залу» осипшим голосом объявил, что сейчас выступит Торо-Иосихаро—японский рабочий, пришедший к нам с Востока.

Вышел японец на сцену, оглядел затаивших дыхание партизан, мужиков, женщин и, нервно тиская в руках шляпу, неуверенно, тихо начал говорить, но после первых же слов голос его, привычный, должно быть, к выступлениям, окреп, зазвенел.

Все слушали, вытянув шеи, жадно разглядывая сильно жестикулирующего, мечущегося по сцене японца в белом костюме с красным цветком. И в незнакомую речь вплетались слова, доступные всем своим созвучьем. «Пролетаришен, империализм, Интернациональ». Слова эти, вылетая, врезались в сердца, будили жажду боя.

Японец говорил, чувствуя напряжение массы. И вот крепко сжатыми кулаками, грозя невидимому врагу, он выкрикнул: «Интернациональ» и, подбежав к знамени, схватил его и замахал им.

Ура!.. Ура-а!!! и снова в воздух полетели шапки, мадьяры, схватив винтовки, выкрикивали что-то по-своему, размахивая ими над головами.

Стерн, подойдя к краю сцены, поднял кверху руку. Собравшиеся на митинг постепенно затихли и под напряженное внимание он переводил речь японца.

А у сцены подошедший Фильшин, сильно тряся, жал своей огрубевшей рукой тонкую, но тоже в мозолях руку японца:

— Товарища Торо-Иосихаро.

И. ИСАЕВ

МЕЧТА О СЛАВЕ

Посвящается отличнику по уходу за конем.

Любой вид труда в СССР превращается „в дело чести, дело славы, дело доблести и геройства".

И. Сталин.

Спешу торопливой походкой
К тебе, мой товарищ и друг,
Я волос твой вычищу щеткой
Суконкой тебя оботру.
До блеска, до лоска нахолю,
Овсом золотым накормлю,
Водой напою тебя вволю,
По шее крутой потреплю.
Оно—честолюбие жаждет
(Твое и, конечно, мое),
Чтобы на выводке каждой
Ты выглядел первым конем.
Лоснился бы к волосу волос,
А в сердце играл бы огонь,
Чтобы услышал я голос:
«Вот это культурнейший конь».
«Заснять».
Так полковник бросает
Начальнику клуба приказ,
А музыка туш нам играет
И люди приветствуют нас.
Затем фотографию эту,
Ухода, заботы показ,
Пошлют в окружную газету,
Весь округ узнает о нас.
А то политрук вдруг направит
Письмо, где родился и рос,
О нашей работе и славе
Узнает далекий колхоз.

Родные же будут гордиться,
Ведь лестно и им, как никак,
Что в армии мог отличиться
Родной их сочлен и земляк.
Спешу торопливой походкой
К тебе, мой товарищ и друг,
Я волос твой вычищу щеткой,
Суконкой тебя оботру...

И. УРМАНОВ

НА ВОСТОК

Посвящаю призывному году

Сердце радостью бурной обвито.
Мне восторга порыв не унять,
Когда женщина-врач деловито
Ставит в карточке: «годен, принять».
Прокатились осенние ливни,
Бубенцом прозвенев под дугой,
И ноябрьский предутренний иней
Отступил перед снежной пургой.
Не у нас ли улыбки бродили,
Или, ночь, улыбалася ты,
Когда нашей команде вручили
Литер—ехать до самой Читы?
Мы в вагоне. Веселью не тесно.
Запевало, что девка, румян!
И пошли комсомольские песни
Под задорный и звучный баян.
А танцоры красивым узором
На полу расшивали круги.
...Оставляем байкальские горы,
И трущобы сибирской тайги.
Над горбатою крышей вагона
Тонет легкий, волнистый дымок,—
Эшелон, с металлическим звоном,
Шел упорно на Дальний Восток.

П. БАХАРЕВ

ОТВАЖНЫМ ЛЕТЧИКАМ

Едва восход
Незримым
Роем света
Слетел на крыши
Сел и городов,
Пилот послал нам
Весточку привета
С сединно-пенных
Облаков.
И смотрим мы,
Где серебрятся
Крылья,
И радость лет
Цветет в глазах
Сильней...
Всплыла
За самолетом эскадрилья,
Как стая белых
Лебедей.
Они плывут
Крылато,
Величаво;
Их мерный пульс
Спокойствие
Несет.
И вся страна
Улыбками
Встречает
Пилотов доблестный
Полет.
Они плывут,
Просторы
Покоряя...
И большевистской

Твердостью
Сильны.
Большой привет,
Как жизнь
Большого
Края,
Отважным
Летчикам.
Страны.

ПЕСНЯ ПРИЗЫВНИКА

Мама, милая, дай руку
И смелее провожай.
Допризывника разлуку
Полюби, как праздник Май!
У меня глаза цветисто
Смотрят вдаль, где стройки взлет.
Брат мой в армии танкистом,
Ну, а я—на самолет!
И в рядах бойцов сын будет
Первокласснейший пилот.
Эту радость не остудит
Зарубежный вражий сброд.
Если враг дерзнет с границы
Ощетинить наш дозор,
Полетят стальные птицы
Дать решительный отпор!
И поверь мне, мама, знаю
Мудрость родины моей,
Я счастливым уезжаю,
Позавидуй же скорей!
А когда в полях пшеница
Полнокровием блеснет,
Ожидай стальную птицу
И танкеток стройный взвод.
Уберем в колхозе вашем
Весь обильный урожай.
И опять сынок твой скажет:
«До свиданья, провожай».

НА СЕНОКОСЕ

Вот опять взмахнули косами,
Вот опять—на трактора,
Хорошо шагать прокосами,
Хорошо метать стога.
    Поле, поле, славлю день я,
    День косьбы твоих лугов,
    Трелью плавится гуденье,
    В перекликах голосов.
Эй, живей, товарищ, что ли,
Бригадир, иль рядовой,
Если вдруг отстанешь в поле—
Не равняться за тобой.
    Закалили сталью тело,
    Сталь калили неспроста.
    И литовки ловко, смело
    Рвутся в омуты отав.
Там правее, стрекот стали,
Там зазывная гудень.
Кто сказал, что мы отстали?
Мы в боях рождаем день.
    Хорошо в колхозном стане,
    За увалами полей,
    Осознать свое призванье
    В беге родины моей.
Осознать, не забывая
О врагах за рубежом,
Пролетарий Парагвая,
Польши, Франции, Китая,
Встань, товарищ, под ружье!
    Пусть пройдет свободы гений
    По крутым пролетам дней.

. . . .

    Выходи, боец творений,
    На прокосы, в синь полей.
И пошли, взмахнули косами,
Загудели трактора.
Хорошо шагать прокосами,
Хорошо метать стога!

ДЕНЬ РАДОСТИ

Я тот,
У кого
Монгольские
Скулы
И загар,
Как сентябрьский
Лист.
Вспоминаю
Опять
Аулы,
Да в степях
Кочетиный
Свист.
Ах, ты, жизнь,
В пору
Ранних
Лет
Я тобою был
Так не рад.
Чуть слетал
На поля
Рассвет,
Принимал
У коров
Парад...
А потом
Хруст
Осенних
Трав
И безлистие
Спелых
Берез;
В батраках
Радость
Глаз
Потеряв,
Я судьбу
В комсомол
Принес...
Помню,
КИМ
Дал
Маршрут
В года,
А в колхоз
Отослал
Путевку...
Улыбнулась
В полях
Страда
За мою
Боевую
Сноровку.
Годы
Шли
И старели
Люди,
Но
Поверьте:
Я в днях
Не умолк.
Кто же
Радость
Такую
Остудит,
Если
В сердце
Моем
Комсомол.

В КОЛХОЗЕ УЧИТЕЛЕМ

Опять я хочу говорить о многом,
Глотая во всю непокорную мысль.
Кричали вчера журавли над домом,
И гуси кричали: «живей, торопись!»
Смешные крылатики, много ль им нужно.
Под осень они улетают на юг.
Но почему-то таежная стужа
В глазах рассыпала испуг.
От вечера к осени грань такая:
Шаг в полынь, два в лебеду,
Но все-таки жизнь тайги большая
Пусть знают птицы—на юг не пойду.
В колхозе учителем. Ценят. Рады.
Еще годок, говорят, поучи.
И как-то мягко плывут в туманы
Победного солнца лучи.
От вечера к осени грань такая:
Шаг в полынь, два в лебеду.
Сегодня в колхозе день урожая,
Глазами знамен провожал страду.

И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

(Повесть о полярной рации)

П. П. Петрову.

1

Их только пятеро в крошечной полярной рации—бухта Безмолвия: радист, метеоролог с женой-фельдшерицей, розовощекая моложавая повариха и сумрачный каюр Силантьев.

В конце июня громадный двухтрубный ледорез завез их сюда, в суровую каменистую бухту, а сам, застилая дымом белесый небосвод, ушел дальше, прокладывать новые пути к Чукотке, к Владивостоку. В конце июня они впервые вступили на неприветливую землю арктического побережья. А сейчас уже август. Туманный северный август. Потухающие белые ночи, последние теплые лучи. Впереди десятимесячное одиночество. Пурговая зима. Скука. Впрочем, последнее—не для всех.

Радист Гуров и не думает хандрить. Целыми днями он возится у своего аппарата, изучает его капризный нрав. Крепит антенны, гордо прокалывающие голубовато-седое небо. Иногда, выбрав свободную минуту, отправляется бродить по окрестностям. Здесь, в узких сырых долинах, он ищет салат. Ведь этот салат будет предохранять их от цынги. Собирает яркие, как факела, желтые и красные маки, застенчивые голубенькие камнеломки.

Гуров умело вяжет из них красочные букеты.

В этих цветах грустная улыбка гаснущего лета, последнее напоминание о тепле. Нежные цветочные запахи напоминают ему родные степи, трепещущие струи летних миражей.

Он долго бродит по обветренным склонам угрюмых береговых гор, по молчаливым болотам тундры, усеянным желтыми искрами поспевающей морошки. Радист не замечает времени.

Метеоролог неустанно копошится около своей «голубятни»—аккуратной беленькой будки.

Метеоролог наблюдает, записывает, суммирует, терпеливо вникая в тайны северного климата. Но зато все вечера напролет он просиживает над синими томами Блока, над потрепанными страницами Шопенгауэра.

Арктика не угнетала его. Наоборот, ему казалось, что только здесь он нашел себе истинное успокоение, настоящий полноценный отдых.

Столичная сутолока изрядно наскучила ему. Самое малое через три года он вернется в «большую жизнь». Какой глупец назвал ее так? А, может, и совсем не вернется.

Силантьев нянчится с мохнатыми лайками; кормит их вкусной хрустящей юколой, готовит упряжки. Повариха занята кулинарией. И если уж говорить о скуке, то это всецело относится к жене Терновского, белой и очаровательной, как северная ночь. Ей тоскливо вдвойне. Во-первых, непривычная обстановка, во-вторых,—муж. Валерий положительно невыносим. Он может часами бубнить Блока. И главное, хоть бы умел декламировать, а то только уродует такие звучные стихи, и потом—почему он беспрестанно повторяет два стиха: «Ты ушла на свиданье с любовником» и «Скажи мне, верная жена?» Неужели он считает их лучшими? Подойдет к ней, уставится прямо в глаза и заведет свою невыносимую шарманку:

Дрожала ль ты заветной дрожью,
Была ли тайно влюблена?

Наверно, он ревнует ее к этому крепышу Косте. Вот глупый-то. Но почему тогда не сказать прямо? К чему все это? К чему маскироваться? И так день за днем: сиди, слушай, молчи. Но сегодня она не выдержала нудных причитаний мужа.

Незаметно выскользнула из комнаты и вот пришла сюда, на оранжевую отмель, где неуемно грохочет гребнистый прибой.

Под ее ногами скрипит песок, хрустит галька.

Женя ходит вдоль побережья. Волны окатывают ее тусклыми чешуйками брызг. Волны с белыми лепестками пены. Нет, это слишком нежно—лепестки. Это слишком красиво для севера. А ей именно хотелось, чтоб пена напоминала белые лепестки гиацинтов, растущих на раздольных курских полях. Ей хотелось, чтоб крепкий ветер океана хоть на мгновенье повеял черноземной теплынью ее травянистой уютной родины. Вот здесь все такое пугающее, нелюдимое, дикое. Женя никак не может привыкнуть к этой природе. Женя присматривается к ней, как к незнакомому человеку, не внушающему доверия, каждое движение которого заставляет настораживаться.

Жене кажется, что она смотрит на природу сквозь увеличительное стекло. Откуда такие размашистые горизонты? Такая бескрайняя ширь?

В океане ошалелый рокот волн, стеклянное дребезжанье разбиваемых льдин. Отсюда, с берега, они очень напоминают белые облака, гонимые ветром.

Вверху над беспокойной бухтой—выцветший шелк августовского неба, и там в небе—снежные хлопья отлетающих лебедей, унылые крики гусиных стай.

Женя садится на глянцевитый, округленный волнами камень. Она ни о чем не думает. Она томится среди этих пустынь, подавляющих своим величием. У самых ее ног шумно плещется прибой. Озорные брызги покалывают ее лицо, прозрачно-зелеными бусинками падают на ее красную шелковую фуфайку, на ее узорные унты, опушенные инеем меха.

Но вот Женя приподнимает голову, бережно откидывает назад сыпучее золото волос и смотрит вдаль. Долго и напряженно. Ей послышались звуки шагов. Так и есть. По отмели размашисто идет человек, идет сюда, к ней.

Человек еще далеко, но она отлично видит, что это не муж: Валерий ходит, как сонный, едва переставляя ноги. Силантьев тоже шагает медленно и вяло. А у этого красивая мужественная походка.

Как хорошо, что это Костя!

Куда он, интересно, ходил? С ним всегда приятно поболтать.

Он живой и общительный, а ей наскучило, опротивело одиночество, воспоминания и мечты—пустые, никчемные.

Заметив Терновскую, Гуров зашагал быстрее. Пригладил на широком лбу непослушные вихры.

— Здравствуй, Женя,—гремит его голос, глуша мятущуюся музыку прибоя.

Она протягивает узкую, чуть тронутую загаром руку. Слегка зардевшись, она ощущает его крепкое пожатье.

— Где это вы блудите, Костя?

— То-есть, как это блужу? Я протестую против подобного вульгаризма в обращении с молодыми людьми.

— Ах, будет вам, Костя!—на ее губах лукавая улыбка.

Радист протягивает ей букет.

— Цветы в Арктике? Настоящие живые цветы?—восклицает она с удивлением и благодарностью.

— Подышите,—забудетесь.

— Отчего бы это?—тихо спрашивает Женя, вдыхая едва уловимый запах цветов.

— От треволнений людских,—смеется Гуров.

Они вместе возвращаются домой. Они почти задевают друг друга плечами.

Вдали, у скал, буянят белоголовые валы, а здесь, в бухте,—лёгкая зеленая зыбь.

— Как тяжело жить с таким мужем,—чуть внятно произносит Женя. Она говорит это не Косте, не крепкому, мускулистому

Косте, которого можно полюбить с первого взгляда. Совсем нет. Она говорит это волнам, песчинкам, букету.

Гуров молчит. И только его литое плечо еще ближе, еще плотнее касается тугого жениного тела.

Вянущее осеннее солнце протягивает над бухтой Безмолвия хрупкие тычинки лучей.

— Научите меня радиотехнике,—неожиданно бросила она, остановившись и прищуренными глазами вопросительно уставившись на Костю.

— Хорошо,—просто ответил он.

2

Вечерами, собственно, можно ли это назвать вечером, когда совершенно светло, когда солнце и не думает закатываться, когда ничто не напоминает сумерок—зимовщики собирались в просторной, со вкусом убранной столовой. И здесь за чашкой крепкого кофе текут бесконечные, как просторы тундры, споры о культуре, о жизни.

Грузный, неповоротливый Терновский (еще в гимназии ему дали прозвище «волкодав»), смешно раскачиваясь на стуле, начинает лобовую атаку.

— Поверь, Гуров, что нет никакого интереса обитать на старушке-земле.

— Почему это?—удивленно спросил радист.

Терновский раскачивается еще быстрее. Зачем-то мнет в руке маленькую серебряную ложку, липкую от сахара, и продолжает развивать свои туманные рассуждения.

— Ты спрашиваешь: почему? Да очень просто, голубчик.

Тон у него отечески внушительный, хотя он всего на четыре года старше Кости.

— Все открыто. Все изведано. Все изучено. Каждый ученик прекрасно осведомлен, что нет горы выше Эвереста, нет пустыни страшнее Сахары. Как я жалею, что не родился во времена Ермака и Дежнева.

— Вот где таились неисчерпаемые возможности. Плывешь по какой-нибудь реке и не знаешь, что тебя ждет за поворотом. В голове роятся думы о сказочных Эльдорадо, о неизведанных землях. Красота, брат!

— Или вот неплохо попасть на Венеру. На девственную, ничем не запятнанную землю Венеры. Только непременно первым, чтобы безграничное поле деятельности и необозримые горизонты.

«Высоко загнул,—думает Костя,—высоко, а сам по низу стелется, как полярная ива, питаясь скудными запасами прошлых лет. Развитие его застопорило, чахнет, хиреет на корню. А инте-

ресные же экспонаты попадают на северные рации. Плохо еще людей сортируют. Горя хлебнешь с ним».

Костя невозмутимо попыхивает папиросой. Молчит. Ждет. Ему незачем спешить. Пусть переговорит до конца. Пусть обнажит тинистое дно своей убогой душонки. И тогда Костя одним веским доводом положит на две лопатки этого, претендующего быть оригинальным, спорщика.

— Хорошо, вот вы говорите: попасть на Венеру. Но почему в таком случае сидите, сложа руки? Изобретайте гондолу. Будьте пионером междупланетных путей. А что там кивать на Ермака, на прошлые столетья. И в наше время непочатый край интереснейших дел. Мне кажется, все ваши выдумки, зрелый плод незрелого ума. Простите за сравнение.

— Вот это лягнул,—весело говорит Женя, помогая поварихе убирать со стола белую фарфоровую посуду.

— А тебя, благоверная, за язычок не тянут: не грешно и помолчать,—одергивает ее Терновский.

— Ну, вот еще,—не сдается Женя,—я, кажется, не лишенка.

Руки Терновского, усеянные маковыми зернами веснушек, начинают дрожать.

Ложка падает, цепляясь за оранжевые кисти скатерти. Водворяется молчание, неловкое, сумрачное.

Радист терпеть не мог всяких натянутостей и, чтоб разрядить обстановку, он оживленно заговорил:

— Да, чуть не забыл, уважаемые. Сегодня получено сообщение о готовящемся перелете вдоль полярного побережья в феврале..

Все насторожились. Силантьев перегнулся через стол. Моложавая повариха, нежно поглядывая на радиста, застыла среди комнаты, держа в руках сверкающие тарелки.

Гуров назвал фамилию известного летчика.

— Очень прекрасно,—воскликнула Женя.

— Здорово,—подтвердил каюр и улыбнулся к удивлению остальных.

— Чему вы обрадовались?—буркнул Терновский, скрипя стулом.

— Разве нечему радоваться?—спросили его.

— Ясно нечему. Дело весьма рискованное. На этих перелетах уже не один храбрец голову свернул.

— Без жертв революция не обходится,—спокойно заметил Гуров.

Терновский молча прошел в свою квартиру.

— Чудак он, якорь его в сердце,—начал Силантьев, не стесняясь Жени.—То о старых временах тростит, то о солнечных пятнах толкует. От них, дескать, и перевороты делаются, и смерти, и свадьбы. Запятнал он себя своими пятнами.

Гуров сдержанно рассмеялся.

3

В начале сентября ударил первый, но крепкий мороз. Он мгновенно спаял бухту искрящимся оловом льда. Подул резкий ветер. Потом выпал снег. Снежинки падали сразу целыми созвездиями,—они словно торопились скорее прикрыть черную неприветливую наготу земли.

Полярники бухты Безмолвия были готовы ко всем капризам природы. Морозы не страшили их. Весело пылали голландки. Пахло мясом, чесноком и кофе.

Зимовщики были обеспечены решительно всем, начиная от крупчатки и кончая порошком и зубной щеткой. Три раза в день аккуратно передавал Гуров туда, на юг, к сердцу родины, изменчивые показатели осадков, ветров, давления. Его сводки мчатся быстрее птиц и ветров, быстрее громовых раскатов. Они летят на одной скорости с солнечным лучом, чтоб лечь на карту погоды извилистыми, как течения самых прихотливых рек, линиями изотерм, изобар, линиями фронтов.

Чтоб одолеть врага,—а климат студеных широт является врагом,—надо изучить вражьи повадки, нужно знать вражий нрав. И только тогда можно бесстрашно шагать вперед через запутанные загражденья изотерм к океану, к полюсу.

Вот почему по берегам гневных ледянистых морей на расстоянии пятисот, тысячи километров друг от друга, среди торосов и снега, гордо взвиваются к облакам алые вымпелы полярных зимовок.

Над бухтой скитается непоседа-туман. Вал сердито разламывает белые бивни льдов. Ураганно гудят рассыпающиеся айсберги. А здесь, в помещении знойно дышат печи, аппетитно дымится кофе.

Повариха накрывает на стол. Женя проворно колет сахар. Метеоролог читает Ницше. Радист говорит с родиной. Кто сказал, что она там—далеко, за барьерами льдов и гор. Нет она тут—рядом, у плеча. Она в каждом биении сердца, в каждой мысли, в каждой цифре, распластанной на снежном поле листа. Правда, бывают мгновенья, когда к сердцу тоненьким мутным ручьем просочится тоска. Без этого не обойдешься.

Но сейчас в руке ключ. В ушах—монотонное постукивание аппарата. В голове—легкие и трепетные, как облака на рассвете, мысли о работе, об Арктике, и—зачем таить это—о Жене. О стройной улыбчивой Жене, у которой мягкие волосы и крутые плечи. Частенько она забегает к нему. И словно мимоходом, он разъясняет ей сложную структуру передатчиков. Она уже койчто стала в этом понимать.

Утренний кофе собирает зимовщиков за один стол.

Сегодня против обыкновения, никто не разговаривает, никто не развлекает друг друга. Пьют молча. Обжигаются. Хмурятся. Радист пробовал было заговорить о предстоящей охоте на

песцов, но его не поддержали. Терновский даже не взглянул на Гурова. Ну и аллах с ним! Зато радист нет-нет да и взглянет на его супругу. Сегодня она не в духе—это видно по всему. Об этом говорит и небрежная прическа, и неестественная бледность, и порывисто дергающаяся бровь. Очевидно, между супругами произошла семейная сцена. Так оно и было. Ссоры в семье Терновских были не редкостью. Они появлялись каждый день с периодичностью морских бризов. Придут, побуянят и затихнут.

А сегодня утром, какой тут бриз—целый шторм разбушевался.

— Я беременна, Валерий,—тихо, почти шопотом сказала Женя, смотря на мужа своими голубоватыми, как весенняя даль, глазами.

— Поразительно приятная новость, — усмехнулся Терновский.—И от кого бы это?

— К великому несчастью, от тебя,—хладнокровно ответила Женя, едва сдерживая нервную дрожь.

— Ну, знаешь—это темная история,—и он гаденько рассмеялся.

Женя покинула комнату. Вдогонку ей полетела язвительная ругань. Женя вышла на улицу и там, среди сугробов и тишины, не могла сдержать ливнем хлынувших слез. Какое оскорбление!.. Определенно намек на Гурова, но с ним у нее не было даже крепкого пожатия. Просто дружба. Она плакала долго и безудержно, пока на ее трепещущее плечо не легла пухлая ладонь поварихи.

— Стоит ли горевать, родименькая. Плюнь на него с верхней полки.

Марфа краем уха слышала утреннюю перебранку Терновских.

— И как это ты, пригожая, славненькая, за такого некорыстного вышла? Не могла с Костей спариться.

— Что она про Костю поминает?—желчно подумала Женя.—Сама с ним хороводится, а на меня клевещет. Хитрущая баба.

— Ну, перестань, перестань плакать,—с нежной заботливостью уговаривала повариха.—Щек на слезы нехватит.

И Женя стала успокаиваться. Тихо всхлипывая, она вытирала платком влажные глаза.

Из-за гор тяжело поднимался жгучий карминовый рассвет.

4

Дни убывали. Свет переходил в сумерки. Сумерки—в тьму. И, наконец, в начале ноября пришла трехмесячная арктическая ночь с леденящими морозами, с цветистыми, как праздничные полушалки, сияниями. Мельтешили снегопады. Свирепела пурга. К самой рации подходили непуганные песцы. Принюхивались к

незнакомым запахам, удивленно посматривали на яркие огни в окнах.

В свободное от работы время радист, вместе с каюром, охотился на песцов, ставил в окрестностях зимовки хитроумные ловушки. Уже пять шкурок, мягких и пышных, украшали бревенчатые стены его комнаты.

Как-то после переговоров с Москвой Гуров пошел осматривать капканы. На нем была легкая меховая куртка и теплый заячий треух. За поясом красовался кавказский кинжал с ярко поблескивающей насечкой из серебра.

Ночь, расцвеченная радужной игрой сияний, не казалась суровой и пугающей. Радист легко скользил на лыжах. Приветливые огоньки рации исчезали за снежными заносами. Подмораживало. Часа два назад было 30°, теперь наверное около 40, и ничего—терпимо. Только на мгновение пробежит по телу скользкий озноб и снова тепло, снова захлестывающий дыхание бег.

«Чепуха эти морозы! Любой перетерпим. От стужи разрываются только чугунные бомбы, а не человеческие сердца. Холода могут сковать реки, но не кровь. А мать не пускала на север, все пророчила, что замерзну, заледенею сосулькой. Смешная и наивная! Вот, подожди, вернусь к тебе летом, возмужавший, прокаленный арктическими штормами. Вернусь в свой пыльный Тургай и укутаю твои зябнущие плечи мягким песцовым мехом. Может, даже и невесту тебе привезу, помошницу. Слышишь?»

Как будто мать, морщинистая, сгорбленная, в темном старушечьем платье была рядом с ним.

«Чудно что-то у меня получается: та и эта»—шутливо подумал он, вспомнив, как на-днях Марфа так призывно и лукаво смотрела на него. Но нет, Женя кокетничает и то в меру. А как бы он хотел, чтоб она приходила к нему почаще. Чтоб подальше была от его аппаратуры, а ближе к нему. И сдался ей этот ключ, лампы, наушники. Ведь и здесь, в снегах любить можно».

Сочно хрустит снег. Скрипят лыжи. Тихо. И совсем неожиданно в хруст снега врывается дрожащий и такой ласковый, ласковый голос:

— Костя! Подожди, Костенька. Прямо запарилась, догоняя тебя.

Он останавливается. Удивленно поворачивает голову. Как это он не заметил «погони?»

«Задумался, вот и не заметил»,—заключил Гуров.

Женя приближается к нему. Как уверенно идет она на лыжах.

— Куда ты спешишь, Костя?—с какой-то особенной нежностью спрашивает она.

— Пошел капканы смотреть.

— Ах, какой ты право. Все капканы, да капканы. И на что тебе эти песцы понадобились?

Он молчит. Еще несколько таких же ласковых «упреков» и он не сумеет сдержать своих чувств, своей любви к ней. Гуров

бесцельно смотрит вниз на отливающий красным заревом снег, на острые концы лыж.

— Слушай, Костя:

> Пурговой ночью теплота дороже
> Песцовых шкур и золота ценней.

— Ты согласен с этим?

Что ей ответить?

Над тундрой неудержимо бушуют сполохи, красные, зеленые, фиолетовые. Небо кажется иллюминированным. В завороженную тишину снежных равнин врывается отдаленный прибой океана. Он как бы напоминает о жизни, о суровой мужественной жизни советских полярников. Сердце перепутывает лады, горячей становится кровь. Радист обнимает Женю, жадно целует ее заледеневшие ресницы, сочные, теплые губы. Женя не отворачивается, она теснее прижимается к нему.

— Ты для меня, как северное сияние,—такая же радостная и светлая,—шепчет Костя. Наконец, она вырывается и бежит, он нагоняет ее и они скользят на лыжах рядом. Сзади сизыми жгутиками вьется встревоженный снег. Яркие локоны Жени кроет узорная изморозь. Играют сполохи. Рокочет прибой.

А когда лыжники возвращаются в зимовку, их встречает насупившийся, брюзжащий Терновский:

— В следующий раз хоть поодиночке возвращайтесь, нужно совесть иметь,—почти выкрикивает он, нервно выдернув клок волос из рыжеватой бородки.

С этого дня и начались на полярной станции неурядицы.

5

Всю ночь Терновскому снились дикие, сумбурные сны. Его лихорадочно трясло, он вскакивал с кровати, тяжело ступая, ходил из угла в угол. В знойном тумане ревности ему маячили белые снега, залитые отблесками сияний и среди них его жена с радистом. Оба счастливые, радостные. Чорт возьми! Посадить ее в комнате, запереть на замок, у дверей привязать цепного пса, чтоб не давал ей и шагу сделать. К дьяволу рацию. Сдались ей эти медные обмотки—неужели он ее не прокормит. К чему ей еще лишняя специальность. Нет, он ее никому не отдаст. Ведь не для того он когда-то вымаливал ее любовь, ползал перед ней на коленях, писал наивные стихи.

Перед глазами часто вставал ребенок... Ребенок... Терновский не хочет иметь ребенка. Ведь это уродливое, беспомощное существо, с вечно влажным ртом свяжет их по рукам и ногам. Тогда будет ни до ласк, ни до поцелуев. День и ночь—крики, вопли, пеленки. Женя навсегда потеряет свою обаятельность, по-

тускнеет, обрюзгнет. И, сделавшись матерью, перенесет на ребенка последнюю свою любовь.

Как это гадко!

Монотонно тикали ходики. За окном нудно, по-волчьи выла пурга. Рядом тихо и безмятежно спала Женя, как девочка, такая простая, красивая, наивная. Будто ничего и нет. Ей мало горя. Потаскалась с этим, а теперь дрыхнет. А у него в голове словно дятлы стучат. Куда деться от тревожных мыслей? Как заставить себя думать о другом?

Проклятая беременность! Женя уже заметно, правда немного, потеряла прежнюю стройность. На лице появились какие-то маленькие желтые пятна, как увядшие листья.

За что ее любить теперь?—Решительно не за что.

А тут еще этот дошлый Костя. Живо смекнул в чем дело. Подлецы. С ребенком он не замедлит разделаться, но нужно отбить у них охоту к встречам. Что за флирт на берегу Ледовитого океана в темные полярные месяцы.

И утром Терновский в первый раз не пошел измерять температуру,—не мог. От дум, тяжелых, надоедливых, давило виски. До двенадцати он провалялся в постели и только к обеду вышел из своей квартиры, бледный, насупившийся.

За льдистыми окнами чадила дразняще-красная полуденная заря. Еще какой-нибудь месяц и появится солнце—долгожданное, ослепительное. Скорей бы рассеялась гнетущая ночь!

Марфа готовила обед. Костя помогал чистить картофель,—он делал это так быстро и ловко, словно всю жизнь работал поваром. Женя, примостившись на подоконнике, читала книгу. Она, казалось, не замечала мужа. Костя остроумно шутил то с потной, раскрасневшейся поварихой, то с Женей. «На два фронта успевает, подлец»,—с завистью подумал Терновский.

— Проклятые!—простонал он.

Никто не оглянулся.

— Ну, ладно же...—Метеоролог оделся и направился к заиндевелой двери. С силой рванул ее. Лицо ожог морозный воздух. Проваливаясь по колено в рыхлый, наметенный пургой снег, Терновский отправился к будке. Он шел медленно, машинально держась за протянутую на высоте груди шершавую веревку, хотя в этом не было никакой надобности. За веревку цеплялись только во время пурги, чтобы не сбиться с дороги, а сейчас—безветрие, тишь. На сугробах—бурые мазки отблесков. Ночь, нескончаемая, утомительная. В барки набивается снег.

Вот и будка. Она чуть голубеет из-за высокого гребнистого забоя. Но как пробиться к ней? Силантьев, очевидно, опять укатил на охоту,—ему неймется. А кто тропинку будет расчищать? Он, научный работник? Зачем же у них чернорабочий? Ну, что же, медвежий бифштекс будет обеспечен.

Терновский пробует разгрести снег ногой. Но бесполезно—снега слишком много. Надо вернуться за лопатой. Нет, лучше

не возвращаться—нехорошая примета, да и лень. Напишу «на-глазок» и все. Было бы из-за чего стараться.

— Да, на-глазок!—со злорадной улыбкой бросает он в пространство.—Вот полетайте,—еще с большей злобой добавляет и со спокойной совестью возвращается в зимовье. Сразу проходит в спальню, наотрез отказавшись от обеда. Он принципиально не хотел принимать пищу, приготовленную при содействии радиста.

— Жена изменит и покинет друг,—бормотал он, доставая из шкафа бутылку спирта.—А ты учись вкушать иную сладость, эта сладость в спирте.

Трясущейся рукой он наливает лафитник и выпивает залпом, а потом с размаху плюхается в постель. Ему нехватает воздуха. Он задыхается.

— Воды! Слышишь ты, баба, воды,—хрипло кричит он.

Хоть водой залить мучительный жар. Спирт словно поджигает его изнутри.

На его зов никто не пришел.

В этот день—17 января в журнал погоды не прибавилось ни одной записи.

6

Голубенькая будочка больше не интересовала Терновского. Журнал наблюдений пополнялся записями крайне медленно. Теперь чаще и чаще многие цифры метеоролог писал наугад, писал ехидно улыбаясь, а потом сумрачно сжимал кулаки. Давно были заброшены Шопенгауэр и Блок. На смену пришли хандра, злоба и спирт.

Стояла все та же непроглядная ночь. В помещении промерзали углы, вода покрывалась ледком. Утром перед наружными дверьми пурга наметала рыхлые сугробы. Мужчины брали лопаты и объявляли аврал.

Тускло брезжили полуденные зори. Но они ничего не обещали, никуда не манили.

Шел январь. Терновский продолжал пить. Радист с затаенной тревогой наблюдал за его бездельем. Ведь так можно и до цынги докатиться, а сейчас самое подходящее время для этого. Ночь. Холода. Только одно спасенье в работе. А иначе—не сдобровать. Начнут пухнуть ноги, кровоточить десны.

Но самое главное все-таки не в цынге. Главное, в метеорологических записях. С такими цифрами далеко не ускачешь. Совершенно нельзя ручаться за их правильность.

И всему виной он, Гуров, со своими чувствами. Конечно, в других условиях об этом и говорить нечего. Ну, понравилась, ну, отбил—кто чего скажет? Но здесь совсем другое. Полярная ночь, цынга и личное горе могут окончательно сломить человека и повлиять на работу. Значит, надо идти на попятную.

Трудно сковать холодом взбалмошные горные ручьи, тяжело заморозить свои чувства. Тяжело, но надо. Этого требуют интересы дела. И чем скорее, тем лучше.

Размолвка случилась быстрее, чем ожидал Гуров. Вечером, после концерта, переданного из Москвы, Женя зашла к Гурову и села по обыкновению к столу с аппаратурой.

— Ты мне еще не объяснил,—начала было она, покосившись на Костю. Но он так недружелюбно посмотрел на нее, что она, закусив губы, замолчала.

Она была в просторном сером капоте с розовыми, похожими на веснушки, крапинками. Платья становились тесными ей, платья выдавали ее уродливую полноту. Поэтому Женя избегала их. А какие хорошие были у нее платья. Гуров прекрасно помнил их. Одно—багровое, как закат перед бурей. Другое—желтое, до того яркое, что на него больно смотреть, как на солнце. Теперь они забыты. Скоро, наверно, и роды подкатят. Как жаль, что это не его ребенок,—так безумно хочется иметь сына. Горластого, пухлощекого сына. Кажется, целые дни забавлялся бы с ним, лелеял бы его, как оранжерейный цветок.

Женя неуверенно пересела рядом с Гуровым на досчатый диван.

— Что с вами? Докладывайте,—с нарочитой сухостью спросила она.

Гуров вместо ответа ткнул пальцем на раскрытый учебник химии для вуза.

— Это для меня новость. И когда ты успеваешь выполнять столько дел?

— Нечему удивляться,—уже мягко ответил Костя.

Ее руки плющом обвивают мускулистое тело радиста.

— Перед кем ты скромничаешь? Пальничок мой, родимый...

Костя, забывая о своем настроении, целует ее порозовевшие щеки.

Ему кажется, что они пахнут талой землей, легким апрельским ветром. Костя целует еще и еще. И вдруг неожиданно отстраняется.

— Ты что?—испуганно смотрит она на него.—Ты что, Костенька?—повторяет она чуть дрогнувшим голосом.

— Ничего... так...—Радист набирается смелости,—ему почему-то стыдно смотреть на нее. Он виновато опускает голову.

На полу одинокий валяется календарный листок. Трепетный свет керосиновой лампы с трудом позволяет разглядеть расплывающуюся в глазах цифру 31. «Чорт возьми, сегодня последний день января. Значит, через полмесяца перелет. Теперь, как никогда, нужны безупречные сводки о погоде.

— Лучше нам не видеться,—произносит он сквозь зубы.

— Как это?—ее узенькие брови удивленно расходятся в стороны.

— Ну, не видеться и все,—немного грубовато поясняет он.

— Ты шутишь, Костя?—Женя пробует улыбнуться, но у нее выходит жалкая и фальшивая улыбка.

— Ничуть, я вполне серьезно.—«Разве сказать ей напрямик?—Нет, подальше от всяких нравоучений, они неуместны теперь».

Все это время он неуместно вертел рукой плоскую пуговицу на вороте рубашки; нитка, наконец, перекручивается и пуговица белой градинкой падает на пол.

Гуров порывисто приподнимается с дивана:

— Нашу любовь надо кончить. Раз и навсегда,—он пугается своих слов, но мужественно продолжает дальше:—я решил жениться на Марфе, на поварихе Марфе.—Его голос проникнут холодной решимостью.

— Хороша пара...—желчно смеется Женя и тоже приподнимается. От ее резкого движения полы капота распахиваются, как крылья. Радист видит высокий живот, треугольник нежно-кремовой груди. Еще замечает радист светлый хрусталик слезинки. Слезинка медленно сползает по бледной ее щеке.

— Я постараюсь попрежнему любить тебя.

— Спасибо и на этом.

Рассерженно хлопает дверь, тоскливо дребезжат оконные стекла.

Так совершилась размолвка. Больше они не встречались. Зато Терновский заметно повеселел и с прежней любовью занялся своими наблюдениями. Ставка Гурова оказалась верной. А через неделю пришло долгожданное, невольно примирившее всех...

7

— Солнце, товарищи!—не своим голосом вскрикнула Женя. Она, казалось, забыла о своей гнетущей печали, о муках ревности.

Зимовщики порывисто вскочили с постелей. Зимовщики одевались с лихорадочной быстротой. Терновский надел рубашку наизнанку, Гуров никак не мог найти брюк, но все-таки все сборы заняли не больше двух—трех минут.

Нужно было спешить: первые миги солнца на севере неизгладимы. Они, все пятеро, выбежали на улицу и смотрели на восток, откуда робко сочился желтоватый свет. Солнца еще не было, но свет становился все ярче и ярче, он золотил снег, он гнал перед собой сумрачные тени полярной ночи.

Зимовщики стояли, боясь шелохнуться. У всех было такое ощущение, словно они встречали любимого человека после длительной разлуки.

И вдруг Терновский неистово захлопал в ладоши.

На востоке показалось солнце. Над необозримой снежной гладью оно взмахнуло багровым крылом и снова скрылось за

горизонт. Оно словно боялось затеряться в тусклых пустынях неба.

Стало темнеть. На снег легли густые тени. Но уже не было той отчужденной суровости, какая чувствовалась в бесконечной ночи. Люди знали: тьме пришел конец. С каждым днем солнце станет подниматься все выше и выше, чтобы потом, к маю, в мечтательные белые ночи совсем не сходить с небосклона.

Радостные и возбужденные долгожданной встречей зимовщики занялись своими повседневными делами.

8

Холод непрошенно забирался под одеяло, мешал спать. Радист неспокойно ворочался сбоку набок. Старался лечь поудобнее, но холод везде находил его, пробегая по телу скользкой волной. Единственное спасение встать и затопить печку. Но так не хочется подниматься. В комнате неуютно и полутемно. Стена, выходящая на север, словно нафталином осыпана. Сквозь толщу оконных льдов скупо пробивается солнечный свет, он кажется каким-то призрачным и неосязаемым, в него не хочется верить после четырехмесячной ночи.

Дрожащий отсвет падает на портрет матери. Портрет висит над самой кроватью. Худенькое лицо в паутине морщин. Серые локоны. Ласково-прищуренные глаза. Гуров, забыв о холоде, пристально смотрит на дорогую фотографию, подперев щеку широкой ладонью.

Что она делает в этот ранний час там, в дремотном Тургае. Наверно, собирается на базар или, пожалуй, уже пришла. Временами хочется всплакнуть о ней.

— Лодыря корчишь, дружище?

Гуров чуть бледнеет, стыдясь, что его застали врасплох, погруженным в лирические размышления. Терновский шагает к кровати. Он неуклюж и невзрачен, как ноздреватая каменная глыба.

— Я, собственно говоря, сводку тебе принес. Самую полную и конкретную. Она вроде маяка для самолета. Простите, что запоздал немного. Утреннюю принесу через час.

— Хорошо,—сухо говорит Гуров, беря протянутую бумажку.

Безумно хочется крикнуть в лицо метеорологу: «Не сильно радуйся, чорт тебя дери, все равно весной Женя будет моей. Это решено и подписано».

— Больше никаких сведений о самолете нет?—заискивающе любопытным голосом спрашивает Терновский.

Костя отвечает ленивым кивком головы, давая понять, что его совершенно не тянет к разговорам. Терновский уходит. Его шаги тяжелы, как удары кувалды.

Этот неожиданный визит выводит Гурова из равновесия. Он рассерженно плюет вслед метеорологу, потом спрыгивает на пол

и долго ходит из угла в угол, босой, неодетый. Через неделю (самое большее) прилетит самолет. Может, он хоть немного сгладит обстановку, успокоит, ободрит. Самолет несомненно привезет газеты, письма. И тогда заживем. Только бы скоротать эти дни, не упасть духом.

Что может быть мучительнее разлуки с любимой?

От океана наползает туманная хмарь, она словно занавеской задергивает солнце. В комнате становится еще темнее, еще непригляднее.

Гуров с трудом растопляет печь и, оттаяв замерзшие за ночь чернила, садится писать контрольную работу по механике.

Но удивительно: в голове пусто, как на осеннем поле. Затекшие пальцы отказываются служить. Чернила непослушно растекаются по бумаге. Лучше, пожалуй, бросить,—все равно ничего не выйдет.

Поколебавшись немного, он отодвигает от себя приготовленные листы. Отбрасывает в сторону желтую отлинявшую ручку с обкусанным концом.

После утреннего чая проходит к аппарату. Там на маленьком столике белеет сводка о сегодняшней погоде. Сводка написана крупным, с наклоном вперед почерком Жени, но написана небрежно. Гуров судорожным движением берет листок, просматривает его, стараясь найти среди этих показателей осадков и ветров хоть маленький лоскуток затаенного чувства, хоть щепотку ласковых слов. Но их нет. Они перегорели, как волоски электрической лампочки. И опять ночь. И опять тоска. Он опять всматривается в буквы и слова и еле заметная радость подливает к сердцу. Женя так раньше не писала. В закруглении букв он видит торопливость. Ее заставили написать. Она не хотела. «Эх, гад»,—вырывается у него сквозь зубы.

Гуров схватывает бумажку и начинает передавать сводку. Монотонное постукивание раздражает радиста. Это скорей не постукивание, а покашливание, всхлипывание и еще чорт знает что. Густыми роями носятся невидимые электроны, атомы таят в себе неисчерпаемую мощь. В них—Днепрострой энергии. В них грядущее. Но причем тут электроны и атомы? Когда сердца коснулись заморозки одиночества. Когда и так видимость 15 километров. Почему пятнадцать, а не двадцать, не десять?—мелькает назойливая мысль. Странная это вещь—цифры. Попробуй только, пошевели их—и зарез.

Закончив передачу, Гуров выходит на улицу. В воздухе—сизый чад туманов, сырость пронизывает насквозь, предметы теряют свои очертания. В десяти шагах не различишь ничего.

— Какой тут, к лешему, полет? Отсиживаться придется пилотам. Ну и климат: то мороз, то хмарь. А в сводке, как будто, стояло 15 километров видимости? Нет, не может быть. Очевидно, я напутал. Надо сходить, посмотреть. Какая-то путаница в голове—не разберешь ничего. Не цынга ли уже начинается? Посо-

ветоваться с Женей? Попросить лекарства? Ладно, пробьюсь пока. Как я все-таки ослаб за последние дни.

Он возвращается к аппарату, вглядывается в цифры. Перед глазами мелькают цветистые шары. Нет, он передал верно. Видимость 15 километров. Если бы Гуров внимательно присмотрелся к этой, принесшей ему столько хлопот, букве, он заметил бы перед ней чуть различимые следы резинки и что другая рука, не женина, подправила. Но буквы не внушали ему подозрений,— Женя пишет букву «к, л, м» почти также.

9

Женя вздрогнула и приподнялась со стула. К лицу неудержимой волной прилила кровь. Радостно зарумянились щеки. Громкоговоритель расплескал по комнате волнующий гул Красной площади, отрывистые сирены авто, мерное цоканье копыт

Женя, казалось, видела рядом с собой зубчатые стены Кремля, сверкающие молодостью звезды на его седых башнях.

Она погрузилась в размышления. Как хорошо ежеминутно ощущать знойное дыхание страны, чувствовать ее уверенный пульс.

Это вливало силы, поддерживало в сердце огонек бодрости.

На улице стонала пурга. В комнате гудела Красная площадь. Какое сочетание!

Она слушает затаенно и долго, пока внезапный приход Марфы не обрывает бег ее мыслей.

— Тоска что-то прицепилась. Побалакать с тобой пришла.

— Вот и хорошо,—отвечает Женя, втайне досадуя на этот визит.

— А потом голову другой день ломит. Может, порошков каких дашь?

Сидели. Разговаривали.

— У тебя что с Костей рассохлась любовь?—как бы между прочим спросила повариха.

— Брось прикидываться дурочкой,—ответила возмущенно Женя.—Думаешь не знаю, что помолвлены с ним?

— Ну и сказала!—удивленно воскликнула Марфа.

— С чего это взяла ты? Какая мы пара! Чорт с младенцем. Мне уж под сорок, а он только оперяется,—она тяжело вздохнула.—И опять же я ему нужна, как медведю платок. Он себе моложе найдет. Такой пригожий, а мы и с каюром проживем.

— С каюром?—изумилась Женя.—Ты обманываешь, Марфа?

— Сроду никого не обманывала.

Женя задумалась: «Ага, вот оно что. Поняла! Догадалась! Костя оттолкнул меня, чтоб успокоить Валерия. О, если бы это было так. Милый, милый, Костя! Он герой и в личном быту. Он всю свою молодость был на боевом посту, находился под ударами жизненных течений, не зная дремотных заводей заплыв-

ших покоем проток. Служба в погранотряде, борьба с басмачами, работа на полярной рации—это самая быстрина, самый бой.

Он научился ценить людей и сдерживать буранные порывы своих чувств.

Еще студенткой Курского медтехникума она занималась парашютным спортом. За ней числилось пять прыжков. Никогда не забыть ослепительных захватывающих мгновений полета. Особенно волнуешься, когда дергаешь кольцо. А вдруг не раскроется? Тогда...

Правда, такие случаи были крайне редко. Но что сделаешь с нервами?

— Теперь то же самое.

Она хочет спуститься с холодных высот одиночества и тоски к жизни, к личному счастью. Но раскроется ли белое лебяжье крыло парашюта? Поймет ли ее Костя?

10

Прошло четыре дня. Самолета не было. Зимовщики начинали беспокоиться за его судьбу, особенно нервничал радист.

Он был убежден, что всему виной 15 километров видимости переданные в сводке. Наверное, они и ввели в заблуждение летчиков.

Гуров не находил себе места. Он то бестолково кружился по комнатам, то выбегал на крыльцо и, прищурившись, минутами смотрел на запад, откуда должен появиться аэроплан. Радист в эти дни совершенно забыл о существовании Жени, заочных заданий, песцовой охоте.

Цифра 15 преследовала его неумолимо, как бред. Гуров чувствовал себя, как после угара. Виски пылали. В мышцах уже не было прежней упругости, в голове—свежести. Видимость 15 километров, а на самом деле туман и нет просвета. Ждем самолета, а он, может быть, потерпел аварию.

Мысли были извилисты и запутаны, словно лесные тропинки.

Вот-вот подступит цынга. Зашатаются зубы,—их можно вынимать из десен, как патроны из обоймы, вынимать и опять вкладывать на прежнее место. Забавно получается. Трудно даже вообразить себе подобную несуразицу. Выходит—по винтику себя разбирать можно. Словно ты не человек, а механизм какой-нибудь.

— Костя, что с тобой, Костя?—тихий женин голос пургой прошумел в ушах.

Радист безразлично смотрит на приближающуюся к нему Терновскую.

«Что ей от меня надо? Зачем она? Даже помечтать не дает. Помечтать?»—он ловит себя на этом и обрывает стремительный поток мыслей.

Женя подходит к нему грустным неторопливым шагом. Он слышит ее порывистое дыхание, шелест ее капота. И затаенно ждет. В глубине души он рад ее приходу. Чувства поднимаются в нем порывами, как метель. Молодец женщина—никакими неправдами ее не запугаешь. Но, может быть, она совсем по другому делу?

— Костя!

На его плечо осторожно ложится теплая маленькая рука. Прямо перед ним ее улыбающееся лицо. Но теперь в нем нет прежней красоты: на щеках лимонно-желтые пятна. Во всем чувствуется болезненное утомление.

Но такая вот она еще дороже, еще ближе ему. В ней бьется новая жизнь, и пусть не он отец будущего ребенка. Что из этого. Никакой помехи для их общей жизни тут нет.

— Ну, сядь сюда, звездочка,—он показывает ей место рядом с собой. Она садится. И он не в силах сдержать напор переживаний. Как глупо было говорить о Марфе. Смешно ставить искусственные преграды своим чувствам. Разве можно остановить бег весенних ручьев? Он нежно гладит ее плечи, щеки, волосы.

— Ты ведь обманул меня тогда, правда, голубчик? Опасался за Валерия? Так ведь?

— Может быть, и так,—уклончиво отвечает Гуров.

— Ну, скажи, Костенька, порадуй. Хотя, что я...—она переводит дыхание.—Наплевать мне на все твои шашни, если бы они и были. Ты мой и только. Верно?

— Верно,—Гуров целует ее в чуть вздрагивающие губы.

— Знаешь, Костя, я долго думала об этом. Весной мы переедем на другую зимовку и останемся еще работать на севере. Я начинаю любить Арктику. Будем учиться.

— Алло! Алло! Говорит Москва. Передаем последние известия. Самолет летчика М., вылетевший из Мартэ-Салэ, пропал без вести. Приняты меры к розыскам. С ближайших аэродромов вылетает около пяти самолетов. Создан специальный комитет спасения. Вся страна встревожена событием.

Каждое слово гвоздем впивалось в сердце.

— Костя, а, Костя!

— Ну, что?—сердито спрашивает радист. Сообщение мгновенно стряхнуло с него очарование разговора.

Гуров несколько секунд сидит неподвижно, потом порывисто схватывает, перерывает бумаги. Находит сводку и впивается широко открытыми глазами в цифру 15 и надпись «километры». Только сейчас замечает, что буква «м» стерта и там приписано: «килом.».

— Ты исправила!—кричит он на Женю, притихшую и испуганную.

Женя долго непонимающе смотрит на сводку, потом засохшими губами еле выговаривает:

— Нет, это...—Но она не решается назвать имени мужа.

— На розыски!—хрипит Гуров и выскакивает из рации к зимовью.

Через час трое мужчин и одна женщина вышли из зимовки и, пройдя несколько километров вместе, разошлись в разные стороны.

11

Первое время Терновский не ощущал мороза. Его внимание было отвлечено другим. В небе искрились сказочные арки сияний. Сияния эти зачаровывали, манили куда-то в неизвестное, приподнимали над буднями.

Никогда раньше Терновский не видел таких вызывающих ярких красок, такого буйного полыхания.

Небо не могло вместить обилия цветов и оттенков. И они алыми, синими и зелеными мазками ложились на снег. Тогда казалось, что по сугробам расстелены тончайшие ткани, каких, конечно, не найдешь ни в одном прославленном универмаге.

Шел, забывая о цели, лишь бы идти, наслаждаться редкостным зрелищем, мечтать. Было даже жалко давить лыжами лучезарный снег. Нет, на «большую землю» он, Терновский, не вернется. Ему противна блеклая жизнь городов, одноцветных, пробензиненных, душных. Если жить, то именно здесь, где все просто и объяснимо.

Сердце—камень. Остров уединения. Ванкарем. Мыс Желания. Даже в этих именах что-то влекущее, искреннее, девически чистое.

Сияния продолжали искриться с прежней яркостью. Пожалуй, так счастлив он был только в детстве, когда в нарядном зале зажигали веселые огоньки елки. Это были самые неизгладимые мгновенья. Теперь все это смыло, захлестнуло жизненным валом, заволокло туманом времени. Маленький особняк в Пулкове взят под детские ясли; отец, седой, сгорбленный астроном, сослан за вредительство в Соловки; брат где-то в Париже. Созвездия детских лет удаляются дальше и дальше. Ни в какой телескоп не разглядишь теперь их очертаний.

Сияния начинают тускнеть, чахнуть. Синий цвет переходит в голубой, алый—в розовый. Арки распадаются на части, словно кто-то невидимый ломает их. По небу бродят опалово-бледные пятна. Снег теряет радужность. Над сугробами ползает темь. Очарование исчезает. Лицо леденит ветер. Мороз щиплет пальцы. Терновский нагибается и трет снегом щеки, нос, уши.

«Куда и зачем я иду? Искать какой-то затерявшийся самолет?—очень это нужно. Не повернуть ли назад? Потерялся—туда и дорога».—Он смотрит вверх на крупные, кистями свисающие звезды.

Он знает их, как лоцман огни бакенов. В детстве отец часто водил его в обсерваторию и показывал в телескоп голубые хо-

лодные созвездия. Смотря на них, оба теряли ощущение реальности. Мир казался жалким и микроскопически-маленьким по сравнению с загадочными высотами звездного неба, а жизнь—короткой, как вспышка упавшего болида. У обоих прояснялись лица, учащенно бились сердца. И отец и сын были наедине с вечностью. В такие минуты даже хотелось умереть, исчезнуть в высотах, превратиться в ледяную туманность.

А сейчас вот больше всего мучает мысль о смерти. Собственно, не так о смерти, как о могиле, о земле. Смерть—пустяки. Ну умер и все. Но лежать в гробу, сдавленном со всех сторон мерзлыми пластами, невыносимо. Пусть его похоронят, как самоеда. Пусть его тело растерзают алчные песцы. Это все-таки лучше, чем кладбище, чем крематорий. Конечно, надо повернуть домой. Искать самолет не в моих интересах. А вдруг они нарочно спровадили меня, чтобы побыть наедине. «Жена изменит и покинет друг». Он вздрогнул от своей догадки и, не колеблясь ни секунды, повернул назад.

«Если застану вместе—убью. Жене, даже беременной, нельзя верить,—таких хитрых баб еще со времен Евы не видела земля. За что же я тогда люблю ее?»—На этот вопрос он не мог ответить. «Люблю, как смазливую женщину»—мелькнуло в уме.

Над тундрой зверем метался ветер.

12

Женя стояла у окна, прислонившись щекой к студеному стеклу. Сознание одиночества сковывало ее тело, как озноб. Мужчины ушли на поиски, Марфа тоже. Хоть бы звук человеческого голоса, хоть бы далекий отголосок!

За окном—морозная звездная ночь. Неподвижный воздух. Тишина. Минутами звезды подергиваются рябью; Женя знает, что их заволакивает дымом, выходящим из труб. Под полом в углу не переставая скребутся мыши, царапают сердце. Откуда-то, должно быть, из умывальника, чуть слышно всхлипывая, падают капли.

«Даже в звуках нет успокоения. А впереди еще 10 часов тьмы. Страшно подумать. Скорей бы вернулись. Хоть бы даже муж. Все-таки лучше с ним, с чужим, с врагом даже, чем одной. Нет, не надо его. Пусть заблудится, погибнет, замерзнет. Он сгубил ее росистую юность и губит других». Женя язвительно улыбнулась. «Смешно даже говорить об этом. Разве нельзя перестроить свою личную жизнь? Уйти? Бежать от него? Кругом столько работы, столько героического, высокого, а она, вроде Клычковской Дубравны, захлебнулась в водовороте тоски».

«Надо бы реять, как вымпел, наперекор всем пургам и смерчам, а не сидеть у ржавого болотца». Ей вспомнилась прочитанная на-днях книга о 9 одесских комсомольцах, зверски замученных деникинцами в 1920 году. Любарская, Краснощекина—

восемнадцатилетние девушки, они бесстрашно смотрели в лицо врагам. Конечно, у них, как и у всех, были свои маленькие радости, привязанности, любовь. И нелегко было заглушить все это, нелегко было забыть плеск моря, шопот тополей, синеву неба. Но этого требовал долг и это было сделано. Их подвиг блеснул над страной, как свет метеора. Нет, не совсем верно. Свет метеора виден секунды, а такие дела остаются на столетья. А она с врагом...

«А Костя рассердился всерьез. Какой он прямой. Ничего, все это пройдет, «как с белых яблонь дым». Тосковать нечего. Скоро родится ребенок. Мальчик или девочка?—ей безразлично. Лишь бы здоровенький был. Зимовка огласится пронзительными криками. Ребенок принесет ей радость. Так первые перелетные птицы приносят радость весны.

Женя потрогала ладонью круглый и твердый живот. Еще месяц, не больше. Теперь все чаще и чаще под сердцем что-то шевелилось, вздрагивало, трепетало. Как будто внутри ее тела переливалась теплая волна. Скорей бы уже! Потом они уедут с Костей на большую землю. Будут растить ребенка.

Где-то в отдалении захрустел снег, сначала робко и неуверенно, а потом все слышней и назойливей. Кто-то приближался к зимовке. Зверь? Человек?..

Женя инстинктивно отпрянула от окна. Томительно шли секунды.

Но вот порывисто распахнулась дверь, в комнату ворвалось белое облако морозного пара, оно поползло низко над полом, леденя ноги. И в клубах пара увидела Женя громоздкую фигуру мужа.

— А это ты...—удивленно и испуганно протянула Женя, отступая в угол.

— Да, это я,—злобно отозвался Терновский, шагая к ней и не спуская с нее глаз.

С ворота его шубы беззвучно падали снежинки. Она заметила его порывисто дергающуюся щеку и острые, чужие, звериные глаза.

— О Костеньке тоскуешь, паскуда?

— Да... не о тебе!—решительно бросает Женя.

Сжал кулаки. Размахнулся. И прежде, чем она успела сообразить, уклониться, сильный удар в живот свалил ее на пол. У нее начались преждевременные роды.

Терновский, не глядя, перешагнул через нее и прошел в спальню.

13

Тишина действует, как гипноз. Тишина взвинчивает нервы. Хоть бы снег скрипнул под лыжами. Хоть бы тоскливо пролаял песец.

Если остановиться, услышишь порывистый стук собственного сердца.

Временами окружающее начинает казаться нереальным, заколдованным, мертвым. Не сновиденье ли все это?

Только что взошло солнце. Кругом бушует белое пламя снегов. Слепит, режет глаза. Гуров прищуривается, мигает. Он как нагрех забыл синие очки. Вот бы когда пригодились.

Гуров шел всю ночь под трепетными переливами сполохов. И кто знает, сколько километров отшагали его задеревяневшие ноги. Никаких вех. Никаких примет. Снега и тишина. Но, по всей вероятности, он прошел изрядно. Вот сюда, в засугробленную глубину тундр не врываются даже слабые вздохи океана. Расстояния заглушают их. Поистине, страна немеренных верст. Съежившийся человек кажется ничтожно маленьким по сравнению с громадами ослепительных равнин. Наверно, такой же крохотной кажется утлая лодка среди валов разбушевавшегося моря. Поднимешься на застругу, осмотришься по сторонам и опять взгляд упирается в сугробы. Хочется взвыть от тоски. Ни одной черной точки до самого горизонта. Никакого признака жизни. Кругом жгучая белизна. Попытки найти самолет кажутся смешными. Это все равно, что отыскать в траве случайно оброненную иголку.

А когда выходил на поиски, твердо верил в успех. Или Силантьев или он обязательно наткнутся. На Терновского не надеялся.

«Ах, этот Терновский. Дорого видно обойдется его подчистка. Нет, так не будет оставлено. А Женя,—как она просмотрела».—И у Гурова нарастает нехорошее чувство к ней: «Может быть, она с ним заодно?»

Но как отыскать самолет? Ужели разбился? Гуров до боли стискивает зубы. Не хочется верить в это. Трудно представить себе обезображенные трупы пилотов, кучу бесформенных обломков. Нет, самолет не должен разбиться. Им управляет один из лучших пилотов родины. Его машина, сделанная руками наших ударников, работает безупречно, как сердце здорового человека.

Но где же тогда машина? Чудак,—отвечает сам себе Гуров. Разве мала тундра? И, все-таки, я обязан найти его. Без этого не вернусь в зимовку. Пусть лучше замерзну, заледенею, получу гангрену, но отыщу, выручу. Люди осилят Арктику. Мужество растопит льды. Прожекторы рассеют туманы. Я начинаю мыслить слишком отвлеченно. Что это—усталость, болезнь?

В глазах кружится радужная метелица лучей. Радист улавливает шорохи. Шаги песца? волка? Нет, это шуршат лучи, задевая за снег своими оранжевыми усиками.

Может, лучше вернуться? Засесть за передачу? Взбудоражить бесстрастный эфир?.. Но ведь там Женя. Она немного знакома с аппаратом.

Пальцы ног сводит судорога. Больно шевелить руками. Гуров останавливается, смотрит на компас. Зачем это нужно? Залубевшие от стужи пальцы почти не гнутся. Компас с нервно подергивающейся стрелкой лежит в глубине ладони, как в коробочке. Гуров еще выше поднимает воротник, еще ниже опускает негреющую шапку. И опять бежит по завороженным равнинам, забывая обо всем.

Тело делается каким-то невесомым, неосязаемым. Только сердце остервенело колотится внутри, словно ему тесно в грудной клетке, словно оно задыхается там.

Идут часы... Нет, не идут,—кружатся бураном. Солнце созревшим плодом свешивается к западу. Вот-вот оно упадет за горизонт.

Бег уже не горячит, не греет. Кожа вздувается сизыми бугорками. Ветер продувает насквозь, как через решето.

«Обессилю, упаду и хана. Кто найдет здесь?»—Радист теряет ощущение времени. Радист еле передвигает ноги.

И внезапно словно дымком пахнуло. Гуров поднимает голову. Прямо перед ним торчат заиндевевшие мачты, чернеют стены зимовки. Здорово. От волос к голове приехал. Остальные, наверно, вернулись. Марфе, пожалуй, туго пришлось. Ведь отговаривали не ходить—не послушалась.

«Вот они, стойкие злаки»,—припомнил он, улыбаясь. «Сейчас же свяжусь с окружающими рациями. Может, имеются новости». Он приободрился.

В это мгновение послышался какой-то слабый писк. «Что это значит?—подумал радист, прислушиваясь,—так пищит выброшенный из гнезда птенец. Но откуда тут быть птенцу на тридцатиградусном морозе, по соседству с полюсом? Не может этого быть».

«Не галлюцинация ли?» Но писк не прекращался.

Гуров сделал несколько шагов вперед, осмотрелся и вдруг порывисто метнулся влево. Там, на сугробе, беспомощно барахталось посиневшее тельце. Устали как не бывало. Радист сдернул с себя куртку, заботливо завернул в нее ребенка, стал согревать его своим дыханьем.

— Звездочка моя, галчонок мой,—приговаривал он, шепелявя.

А сам дрожал от злости.

«Ну, погоди, дорвусь я до тебя, рыжая собака. Трудно представить, что человек»,—и в остервенении кусал губы.

— Брось ребенка,—прорычал Терновский, появляясь на крыльце. В его руках лихорадочно бился ствол пистолета.

— Ребенок теперь не твой, ты не отец ему. Отцы не выбрасывают детей. Слышишь, гадина!—крикнул радист, не особенно выбирая слова.

— Ах, так!

Гуров видел, как метеоролог поднял револьвер,прицелился в него. Видел и не пошевелился. Можно было загородиться ребенком и спастись, но радист не сделал этого. Расслабляющая усталость вновь овладела им, не было сил тронуться с места. Он, отогревая дыханьем, прижимал крепче плачущего нового человека.

Выстрел расколол тишину. Его услышала обессиленная родами и переживаниями Женя, порываясь встать со шкур, набросанных на полу. Его донесло до Силантьева и Марфы, возвращающихся с разных сторон к рации. Они ускорили шаги, они побежали, предчувствуя неладное.

Радист падал как-то нехотя. Левой рукой он судорожно схватился за бедро, а правой бережно прижимал к груди успокоившегося ребенка.

Серые, обглоданные ветрами горы отозвались гневным отголоском, и не успел он стихнуть, как где-то на западе родился новый гул. Он мгновенно заглушил эхо и разлился по тундре, мощный, властный, настойчивый. Из-за горизонта выплыл самолет. На его распластанных крыльях червонели отблески заката. Самолет, набирая скорость, приближался к рации. Терновский бросился к Гурову, еще раз выстрелил в него в упор, и, схватив ребенка, трусливо юркнул в дверь.

На сугробе ярким георгином алели сгустки крови и никакой мороз не мог опалить его багрянных лепестков.

Летчики поняли ошибку сводки и приземлились у Моховых озер. Переждав туман, полетели дальше вдоль извилистого побережья.

Самолет сделал над рацией приветственный круг, сбросил почту. Снежными хлопьями мелькнули в воздухе газеты и среди них одинокое, написанное неверным старческим почерком письмо, адресованное Косте Гурову.

14

Женя почти ползла к аппарату, цепляясь за стены, чтоб не упасть. Каждое движение причиняло ей боль. Комната казалась нескончаемой, как тундра. Стон часто вырывался с ее губ. Бескровные женины пальцы сцарапывали со стен известку. Известка блестела, словно лед на солнце.

Колени подгибались, она часто падала. Издали можно было подумать, что она подкрадывается к чему-то.

Но вот, наконец, и аппарат. Женя садится. Облегченный вздох вырывается из ее груди. Она возится около него несколько минут и, наконец, начинает передачу. Ключ бесстрастно выстукивает короткие и четкие, как удары сердца, слова: «Самолет пролетел вчера вечером».

На душе чуть легче, что «большая земля», напрягая слух, ловит в морозном эфире ее скупое сообщение. Раз бухта Безмол-

вия на одной волне с родиной, значит, можно перенести любое горе, любую боль.

— Еще вот,—говорит она с собой и снова берется за аппарат:—Радист Костя...

Ключ приплясывает в руке. Как страшно выстукивать о них, о Косте и муже. Но нужно. А глаза краснеют. По щекам проворно прыгают слезинки, в них радужно дробятся лучи полуденного солнца. Рука немеет, она почти не в силах держать ключ.

Идут минуты. Но вот улыбающаяся Марфа подносит к ней крохотного синеглазого ребенка.

— Раскисла. Брось! Гляди—здоровяк будет. Он в обиду не даст.

— Нет, я не раскисла,—словно сама себе отвечает Женя.— А Костя?—чуть слышно спрашивает она, вопросительно уставившись на повариху.

— Что Костя... Силантий с ним, не отходит, перевязали еще раз. Крови много вытекло, да и поморозился.

— Выживет? — отрываясь от аппарата, спрашивает Женя, порывисто вцепившись маленькими похудевшими пальчиками в марфино плечо.—Ну, как по-твоему, как?..

— Парень крепкий,—смахнув слезу, ответила Марфа.—Должен выжить,—уверенно добавляет повариха.

Чуть дрожащей рукой Женя схватывает ключ и передает в эфир о Косте и о муже. Потом откидывается на спинку стула и на ее бледном лице появляется румянец.

* * *

За стенами рации воровато уходила на лыжах сутулая, громоздкая фигура. В руках, как перед боем, человек держал ружье, словно он ожидал нападения. Он шел к востоку и вскоре исчез за снежными сугробами необъятного простора тундры.

ТРЕТЬЯ СКОРОСТЬ

1

Фары плеснули в ночь и яркие снопы света вздыбили тьму. Зорин вел «Интер» на третьей скорости. Настойчивый гул трактора впитывал и растворял в себе слабые шорохи.

Ночь была густая. Вязкая темнота, пропахшая цветами и бензином, казалось, прилипала к телу. В ней бесследно исчезали бледные ростки звездных лучей.

Только слепительно жгучие фары отпугивали и отгоняли мрак.

Навстречу струился ветер. Он был по-весеннему легок и свеж. Прохладным воздухом дышалось славно. Хорошо было чувствовать равномерное покачивание, упиваться властным рокотом мотора. Зорин привык к этой качке, к запаху бензина, к синему, шуршащему при каждом движении, комбинезону. Свой «Интер» он считал таким же родным, как белокурую Лидку.

Только полчаса назад он расстался с ней. Светлое воспоминание о любимой заставило его улыбнуться.

«Эх, Лидия, Лидия. Дал тебе слово перещеголять Борьку, а как вот выполню? Противник он опасный, серьезный. Шуточное ли дело тягаться с лучшим трактористом совхоза. Но ведь и я не из последних»,—подумал он не без самодовольства. «За нашим бескровным поединком следят все трактористы». Это подбадривало, но в то же время вселяло тревогу и неуверенность в себе.

Из-за вихрастого облака выплыла большая и круглая, похожая на фару, луна. На стеклышке шоферских очков оранжевыми бабочками затрепетал ее отблеск. Посветлело. По равнине боязливо шарахнулись мохнатые тени одиноких деревьев.

«А все-таки перегнать надо. Какой же я после этого передовик? Второе лето не могу справиться с Борькой».

Звание лучшего тракториста совхоза не выходило из головы Зорина. Почет и уважение. Вроде героя будешь. Другие по тебе станут равняться.

Под шуршащей парусиной комбинезона учащенными ударами билось его сердце. От таких дум захмелеть можно. Дул ветер, неся запах цветов и бензина.

2

Запашку начали в одно время. Их было только двое на отдаленном участке: Зорин и Викторов.

Над полями растекался рокот тракторов. Перед фарами серой поземкой кружились ночные бабочки. Мотор Зорина работал без перебоя. Горючего хоть отбавляй.

«Догоню, обставлю»,—хвастливо думал Зорин, сидя за рулем.

Было уже часа два ночи, когда он заметил, что трактор Викторова остановился на меже.

«Очевидно авария?—заключил Зорин, слегка обрадованный этим.—Теперь-то уж догоню наверняка».

Он проехал борозду и остановил трактор рядом с «Интером» Викторова. Борис, бледный и обескураженный случившимся, шагнул навстречу.

— Понимаешь, Митька, в баке оказалась течь и остатки горючего вытекли... Течь я заделал, но керосину ни за что нехватит.

Придется ехать на базу. Первый раз это со мной, Митька.

Зорин еле сдержал ехидную улыбку.

«Ага, и на старуху вышла проруха».

Трактора стояли на меже в каком-то болезненном оцепенении. Моторы были заглушены. Викторов нерешительно переминался с ноги на ногу.

«Помощи попросить хочет»,—решил Дмитрий.—«За дурачка меня принимает, а после же надо мной смеяться будет. Вряд ли выйдет это, Боренька. Ох, и начну я теперь бузовать, только пыль пойдет».

Трактора продолжали стоять без движения. Время летело. Из темноты доносились насмешливые крики ночных птиц, они глушили тишину. Птицы, казалось, издевались над людьми: «что, напахали?» Черные массивы полей лежали непреодолимым барьером.

Зорин сокрушенно подумал:

«Нет, ничего не выйдет из моих предположений. Некрасиво получится. Вкуса никакого нет в такой работе. А работа без вкуса—все равно, что трактор без магнето. Один будет набивать рекорды, а другой простаивать. Получится вроде буксования. Кому это нужно?»

Вспомнилось прошлогоднее восхождение на одну из горных вершин Саян. Двигались по обледенелому склону, обвязавшись крепкой веревкой. Каждый из альпинистов поддерживал другого. В этом была сила, устойчивость. Шли почти ощупью, не поддаваясь одышке.

Внизу расстилались зеленые равнины. Голубиным крылом кружилась в глазах даль. Вершина казалась недосягаемо далекой. Но все-таки подъем был взят. Здесь то же самое. «Разве в том дело, что я взбегу на гребень, подставив подножку остальным? Простой удар по совхозу. А горючего хватит на двоих. Будем работать оба. Время еще не ушло. Все равно перегоню рано или поздно. Сила в моих руках».

— Слушай, у меня есть горючее. Я сэкономил. Бери! После расквитаемся.

Викторов не пошевельнулся. Так продолжалось несколько секунд.

— Цеди,—повторил Зорин, глухо и подавленно, словно отдавая Викторову свою кровь.

3

Фары будоражили ночь. Лемеха проворно ворочали черные маслянистые пласты. Запахи земли мешались с запахами бензина, щекотали ноздри. С востока неслышно шло утро. Луна тускнела. Подул ветерок. Зорин заметил, что «Интер» Викторова стал двигаться медленнее.

«Должно опять, что-нибудь не ладится»,—решил он, искоса поглядывая вправо.

«Не везет нынче Борису—удивленье прямо».

Наконец, трактор Викторова остановился совсем.

Зорин выключил мотор своего «Интера» и побежал к Борису.

Викторов, мускулистый и широкоплечий, стоял у трактора, смущенно опустив голову.

— Чего опять, дружище?—недовольно спросил Зорин.—Или работать разучился?

— Не разучился, а...—и Викторов закусил губы.

— Ну, говори, говори!

— Я нарочно... чтобы ты перегнал... чтоб...

— Брось глупить, Борька! Какая мне польза в твоей поблажке—униженье одно. Я, кажется, не инвалид!—тяжело дыша, ответил Зорин.

— Садись и шуруй. Понял? А то врагами будем.

Викторов неуклюже уселся за руль.

Трактор тяжело переваливаясь, двинулся в розовую, рассветную даль и три ручейка земли послушно заструились за ним.

4

Лида встретила «Интер» Зорина километрах в пяти от центральной усадьбы, среди березовых перелесков и черноземных полей.

В легком белом платье она, похожая на соцветие расцветающей черемухи, проворно бежала навстречу любимому.

— Ну, как, говори как, Митенька?—голос ее дрожал.

— На полгектара не дотянул,—тихо ответил Зорин, останавливая «Интер».

Красивое лицо Лиды побледнело.

— Да ты не волнуйся,—успокоил ее Зорин,—сейчас ты поймешь все.

Он рассказал ей о случившемся. Он говорил с замиранием сердца, ожидая ее упреков, но против ожидания она нежно поцеловала его в обветренные губы.

— Если бы все так...—она немного подумала,—тогда бы жизнь шла еще быстрей, шла третьей скоростью. Так, кажется, именуется у вас самое стремительное?

Он притянул Лиду к себе. Тело ее было горячим, как земля на солнцепеке.

— Пусти, глупенький. Запачкаешь ведь платье. Кто стирать будет?

Вдали послышалось мощное гуденье тракторной колонны. Был яркий солнечный день.

А. ГОРБУНОВ

МАТЕРИ

С тобою мы снова,
Старушка, вдвоем.
Ласкает нас
Теплое лето,
И радость
На всех перекрестках поет
Под солнечным
Ласковым светом.

Мы чувствуем всюду,
Что жить хорошо:
И небо, и люди
Прекрасны.
Прохладой колышется
Лиственный шелк
Над нашей
Смолистой террасой.
Нам памятны дни,
Когда выла метель,
Когда без лаптей,
Без винтовок—
Отцы на фронтах,
А в тылу, по стране,
Пылали костры голодовок.
Мне с детства запомнились
Эти года,
Их в сердце
Храню я глубоко:
На вобле сидели
Тогда города,
Поля шелестели осокой.
И толпы пошли
По дорогам земли,
До цвета ботву вырывая,—
В Ташкент,

За Урал, на далекий Илим,
Кресты на съестное меняя.
И каждая мать,
Для спасенья детей,
Под тяжестью
Вялой картошки,
Домой к ребятишкам спешила скорей.
Тряслась
На вагонной подножке.
Что было—
Деревни сгорали до тла,
Отцы на портянках ходили,
Отцы голодали,
Их смерть стерегла,
Но все же
Отцы победили.
Старушки,
Сегодня и песня, и я
Поем,
Что вы нас сохранили.
Должно быть,
Все матери,
Как и моя,
Жизнь любите вы
И любили.

А. ГОРБУНОВ

В ГОСТЯХ У ТЕЩИ

Ароматом с полей потянуло,
Смолью сосен,
Кипеньем цветов,
Медом солнечно-
Теплых ульев
И парным молоком коров.
Золотится кленовая роща
И настойчиво манит в путь,
Но куда?
Разве к милой теще,
По старинке в деревню катнуть?
И приподнято, с интересом,
Я шагаю в приливы рос,
А навстречу
Несутся песни
Серебристых наточенных кос.
Как земля
Изменилась резко.
Мне никак
Не пройти, не дивясь—
По гряде молодых перелесков,
На подгнивший валежник, смеясь.
А от скучного
И былого
Только сучья старушек-рябин,
Да приткнулся за пень еловый,
При дороге без шапки овин.
Он о прошлом далеком тужит
На распутьи веселых дорог,
Он, как призрак нужды и стужи,
Вспоминая былое, прилег.
А навстречу,
Как лебеди, хаты
Выплывают из-за аллей,

С легким запахом
Скошенной мяты
И отрядом густых тополей.
С крыш не хмурятся
Шапки соломы,—
Все соломенное на слом.
Проходя меж ветвистых черемух,
Я набрел и на тещин дом.
Как обычно при всякой встрече
Человека кидает в жар:
Поцелуи,
Приветствия, речи
И в придачу
Еще самовар.
Нет, как раньше широких полатей,
Есть портреты
И стулья, уют,
А на вишнях
Под боком у хаты
Соловьи исступленно поют.
Разговора не выдумать проще,
Его может любой понять:
— А живете вы здорово, теща.
— Очень здорово, милый зять.
Были в прошлом нужда да слезы,
А теперь, что ни день веселей—
Заработали нынче в колхозе
Больше тысячи трудодней.
Ты теперь
Не отыщешь былого,
Нет его ни в полях, ни в избе.
— Да, я вижу—
Не кружит солома,
Рассыпая соломенный снег.
Я встаю и тепло прощаюсь,
Легкий сумрак над полем встает,
Свежий ветер, колосья качая,
Про колхозное счастье поет.

РАССТАВАНИЕ

Из Сибири ты едешь на Волгу,
Сердце, сердце, былого не тронь;
Я умышленно жму так долго
Твою трепетную ладонь.
Время будто застыло с нами,
Время,—медлим и я и ты,—
Чтобы резче оттиснула память
На прощанье друг друга черты.
Не грусти: мы увидимся снова,
И увидим с тобой не во-сне
Быстротечную мощь Ангарстроя
И хребтов голубеющих снег.
К обжитому любовь не напрасна;
Мысль закинет в пространство нить.
Вновь потянут к себе нас властно
Золотые разливы тайги.
Заберем небольшие пожитки,
Охнут два торопливых звонка.
И опять распахнется в улыбке
Подступивший к перону Байкал.
В этот край мы вернемся снова
От далеких российских осин.
Здесь нас встретит, как старых знакомых,
Поседевший ворчун Баргузин.
Через это я больше желаю
Пронести до конца своих дней:
Человечью привязанность к краю,
Безызменную дружбу людей.

ВЕСНА

На скованной палубе белой зимы,
К весне подплываем уверенно
И страстно желаем увидеть на миг
Под солнцем вспотевшую землю.
О, радость! На воздух! Из зимней норы,
Поля над заснеженным румбом.
Так, новую сушу когда-то открыв,
Шумели матросы Колумба.
И вот мы выходим из наших квартир
И голос наш молод и звонок—
Рабочий, колхозник, поэт, командир,
Профессор седой и ребенок.
Мы входим в отчаянный солнечный шторм
Весеннюю радость изведав,
С таблицей высоких стахановских норм,
Зовущих нас к новым победам...
Раз вспышками зелени листья горят,
А почки назрелостью тлеют,
Тогда мы любимых ведем к тополям,
Дарим поцелуи теплея.
Но все же мы помним о деле своем,
Как помнят о судне матросы,
Когда поднимают бокалы с вином,
За рейс и за звонкие тросы.

П. ВИНОГРАДОВ

РУЛЕВОЙ

Черною струей летит дорога,
Бьет навстречу ветер полевой,
Что же ты, товарищ рулевой,
Смотришь так задумчиво и строго?
Что случилось? Разве руль заело?
Или страшен дальний поворот?..
Видел, под черемухою белой
Девушка стояла у ворот.
А вокруг села дымились пади
Прелым дымом прошлогодних трав,
Где-то вправо, в полевой ограде
Ржали кони, головы задрав.
Видишь пыль опять туманом желтым
Из-под кузова плывет назад,
Сколько раз машину здесь провел ты,
Девушке ни слова не сказав.
А она, я знаю, любит крепко
Твою удаль от людей тайком,
Помахай ей масляною кепкой
В знак того, что встретитесь потом.

ДЕНЬ

День так наполнен,
Что через края
Его далеких, синих очертаний
Переливается весна моя
Горячим буйством, молодостью, ранью.
У дальних баз
Горбатые цистерны
Стоят, уткнувшись в пыльную траву,
И облака комбайнами плывут,
Над головой раскачиваясь мерно.
И вечерком,
Когда ложится копоть
Весенней мглы на дымные пути,
Мне хочется в ладоши хлопать
И ожидать, когда луна взлетит.
Или бежать
К латунным переливам,
Где солнечный полощется закат,
И, тучу ухватив за гриву,
Ее к себе на руку намотать.

ПРАВО НА ПЕСНЮ

И в перевитых солнцем травах,
И у распаханной межи
Я зарабатываю право
На песнь, на радость и на жизнь.
И мы живем, творим и строим,
Живу, учусь и строю я,
А песня ласковой сестрою
Бодрит и радует меня.
Бывает каплями бензина
На травах задрожит роса,
Тогда о полевых низинах
Мне хочется стихи писать.
Или в латунных переливах,
В волнах закатного огня—
Обрызганная солнцем нива
До боли радует меня.

А. МИНЬКОВ

ЗЕЛЕНЦОВ И ПАШКА.

I

Хриплый гудок кожзавода пружинисто завихлял в знойном воздухе, но, не осилив взлета, ворчливо сполз вниз, будто в глубокое логово. Это конец работы.

Через контрольные проходы рабочие хлынули на улицу. Только что прошел дождь, парила земля, в небе зацветала радуга.

Зеленцов, прищуренными от улыбки и солнца глазами, осмотрелся вокруг, отрадно вздохнул и обнажил голову.

Строгаль завода Егорыч, маленький старичок, шел с ним рядом, тоже чему-то улыбался, покусывая седенький ус.

— Хорошо, Егорыч, сейчас рыбка клюет,—заговорил Зеленцов.—На речку бы сейчас. Да и в поле неплохо. Завидую я колхозникам,—здоровый труд у них.

— Но нелегкий,—пояснил Егорыч.—А я в свой отпуск обязательно поеду в колхоз на уборочную.

Егорыч внезапно умолк, но тут же крикнул, толкнув Зеленцова.

— Э, гляди, гляди!

Навстречу бежал растрепанный мальчишка со связкой кренделей. За ним, вытянув руки, гнался молодой продавец в белом халате, скорее похожий на парикмахера.

Увидев Зеленцова и Егорыча, мальчишка прыгнул в сторону, но продавец настиг его в узкой щели калитки.

— Сволочь!—визгливо крикнул он и ударил по голове.

— Зачем бьешь?—вступился Зеленцов.

— А что?—заносчиво крикнул продавец и ударил мальчишку еще раз по голове. Тот присел, сморщился от боли, но не заплакал.

— Перестань, говорю!—Зеленцов замахнулся на продавца.— А не то тебе глаза вышибу. Позови милиционера...

— Защитник выискался,—не сдавался продавец.

Вокруг них быстро собралась толпа любопытных. Появился и милиционер. Сначала он по привычке сказал: «разойдитесь, граждане», а затем спросил, в чем дело.

— Опять украл, товарищ милиционер!—пожаловался продавец и свирепо покосился на Зеленцова.

— Та-ак!—солидно крякнул милиционер.

— В тюрьму его подлеца!—пригрозила большеглазая женщина с распаренным лицом и с веником подмышкой.

Парнишка, зная, что при милиционере не бьют, ехидно прищурил черный глаз, затем подмигнул милиционеру и признался:

— Это она меня научила крендели украсть.

— Я? Я учила тебя красть,—взвизгнула женщина и так окаменела на минуту с перекошенным ртом, точно желая показать его присутствующим.—Чтоб ты столько свету видел, сколь я тебя воровать учила, тьфу! Жиган.

Лицо женщины побледнело, а в глазах появились слезы. Она в страхе заметалась в тесном кольце людей, ища поддержки и защиты, но вместо этого встретила дружный хохот.

Зеленцов не смеялся. Он внимательно разглядывал беспризорника, удивляясь каверзной шутке. Маленький черноглазый, он возбудил у Зеленцова какое-то сложное чувство, похожее на то, как будто он нашел что-то важное и ценное, но эту находку сейчас же потеряет.

— Ты чей?—спросил он.

— Свой!—нагло ответил беспризорник и сплюнул в сторону.

— Граждане! Разойдитесь, ну чего не видели!—предложил милиционер, выбираясь из толпы.

— Товарищ милиционер, разрешите мне поговорить с ним,—попросил Зеленцов.

— Чего с ним разговаривать.

— Я хочу его взять,—сказал Зеленцов и запнулся. Он не хотел говорить этого раньше времени, но не удержался.

— Дело хорошее,—поддержал Егорыч.

— Не имею права. Надо говорить с начальником.

— Тебя как звать?

— Пашка.

— Вон как—Пашка!..—чему-то радуясь, повторил Зеленцов.

Через час Пашка, одетый в чистую белую рубаху, сидел в маленькой уютной комнате Зеленцова и пил чай. Обжигаясь чаем, он тяжело отдувался и обильно потел.

— Погляди, Груня, Пашка-то сияет точно новый двугривенный.

Женщина улыбнулась и погладила пашкину голову.

— Ешь, ешь, Паша, наводи тело,—подбадривала она. Пашка не стесняясь «наводил тело»—ел, пил и вкусно причмокивал губами.

— Родители-то где у тебя?—спросила Груня.

— Не знаю... Развелись они. Такие уж малохольные.—Пашке не хотелось говорить о своих родителях, да он мало что и может рассказать о них. Пяти лет он был уже в детдоме, там же сдружился

с одним беспризорником, который рассказал ему о своих путешествиях по разным городам и подбил его на это. Долгое время они путешествовали вместе, а недавно их разлучила милиция. Друга отправили в детскую колонию, а его снова в детдом, но он сбежал оттуда. Впрочем, Пашка не первый раз бегал.

— Хочу я тебя, Паша, сапожному ремеслу обучить,—задумчиво говорит Зеленцов,—до зимы, а там в школу пойдешь. Ты читать-то умеешь?

— Ага, маленько...

От сытного ужина, от столь необычного для него домашнего покоя, Пашку клонит ко сну, глаза слипаются, сквозь сетку ресниц он видит открытый взгляд Зеленцова, который мягко и бережно ощупывает его, будто шевелит сердце, возбуждая какие-то надежды.

— Куришь?—слышит он голос Зеленцова и Пашке кажется, что он далеко, далеко. Пашка сонно бормочет:

— Маленько курю.

— Теперь крышка, не дозволю,—строго продолжает Зеленцов, но тут же, посмеиваясь в рыжие усы, берет его за руку.

— Разомлел ты, паренек. Давай-ка спать.

И первый раз за много лет Пашка засыпал с сытым желудком и обласканный людьми не из детдома, а теми самыми, у которых он воровал, которых он научился ненавидеть.

Первое время его стесняла домашняя обстановка. Особенно в отсутствие Зеленцова. Тетя Груня (так он звал жену Зеленцова) не слишком симпатизировала ему и еще меньше доверяла. Пашка это хорошо чувствовал. А с Зеленцовым было хорошо. Даже тогда, когда он учил его сапожному ремеслу.

— Ты гвоздь забивай с двух ударов,—наставительно говорил Зеленцов,—вот смотри: раз-два! Видал? Раз-два! Был да нет. Ну-ка, давай также: раз-два! Вот сломал, едят-те мухи! Ну, ладно, давай еще, только смелее: раз... опять сломал.

— Так он набок валится.

— А ты оплеушь его сразу, он и не будет сваливаться. Ты сначала приноровись, а потом раз-два! Начинай:—раз-два! Есть на борте. Еще: есть.

Пашка, склонив голову набок и закусив язык, хищно нацеливался и с размаху бил молотком. При каждой удаче он самодовольно шмыгал носом или покрякивал, желая этим обратить на себя внимание Зеленцова, но Зеленцов равнодушно сидел рядом, как будто ничего не замечая, а сам по удару знал, вбит гвоздь или сломан. Скоро Пашка научился владеть молотком.

— На-днях дам тебе сапоги тачать,—пообещал Зеленцов. И действительно дал. Тачать оказалось куда труднее. При неудачах Пашка горячился, дратва ехидно урчала и ложилась на голенище петлистыми линиями.

— Покажи. Ну и стачал!—ужаснулся Зеленцов. Курица и та ровнее ходит, эх-ма...

Пашка виновато сопел и скорбно смотрел, как Зеленцов безжалостно распарывает голенище, над которым он так усердно работал. Затаенно вздыхал. Потное лицо его сделалось смешным, полосатым, точно начирканным.

Пашка снова брался за работу. Радовался, что дело пошло гладко и хорошо. И вдруг извернулась одна стежка, за ней другая. Хотелось поскорее выправить, но получилось еще хуже. Он не плакал при неудачах, никогда не падал духом, а сейчас было так тяжело и обидно, что невольно прослезился. Руки начали дрожать, шов стал еще более извилистый, он испуганно взглянул на Зеленцова. Не видит. Осторожно отодвинулся дальше. Дернул—лопнул—«конец».

— Вот же стерва!—взвизгнул он, с размаху бросил голенище на пол и заревел:

— Не буду тачать, вот!

Зеленцов строго взглянул на него.

— Ты шибко-то не ерепенься. Ремеслу учиться—не оладьи есть. Ты счастлив, что в революцию живешь. Я в твои годы по шестнадцать часов в сутки работал.

Лицо Зеленцова стало сразу невеселым, усы опустились, глаза запали под крутой лоб.

— У меня хозяин жадный был,—продолжал он,—бывало как зарядит и день и ночь, тошнехонько станет, сидишь ночью за верстаком, а спать досмерти хочется, сидишь и клюешь носом, а мастер хлоп по загривку, что, говорит, слюни-то распустил. Умойся.

Не ученье, а каторга была.

Пашка слушает Зеленцова и хочет сказать ему что-нибудь хорошее, ласковое...

Случалось, что рассказывал о себе Пашка, а Зеленцов слушал.

В выходные дни Зеленцовы гуляли в городском саду, ходили в кино, в музей и Пашка увидел много диковинных, чудесных вещей.

Любил Зеленцов сумерничать: он брал гитару, садился у окна и что-нибудь играл. Откинув голову, он непромытыми пальцами бережно шевелил тугие струны, наполняя комнату красивым рокотом.

Порою звуки дружелюбно гудели или таинственно перешептывались меж собой, сгущались, таяли, снова набухали звучной упругостью и опять таяли, как хлопья пены прибойной воды. И Пашке казалось, что нет на свете ничего лучше музыки, а из людей—никого лучше Зеленцова. Ему хотелось быть таким же, как Зеленцов.

Но в рабочие дни Пашка тосковал. Тетя Груня была всегда занята чем-нибудь и редко заглядывала в пашкину «мастерскую» (так она называла комнату, в которой прежде работал Зеленцов). С тех пор, как появился Пашка, для Груни стало ясно, что

все внимание мужа было сосредоточено на нем. Это огорчало ее. Если Зеленцов не замечал этого, то Пашка чувствовал. В необщительности тети Груни Пашка угадывал нелюбовь к себе.

Однажды Зеленцов пришел домой веселенький.

— Жена!—кричал он, прищелкивая сухими пальцами.

— Не ори, дурак!—ворчала Груня, продувая самовар; она по голосу знала, что муж подвыпил.

— Не стыдно, да еще и при Пашке,—укоряла она мужа, хотя присутствие Пашки ее не беспокоило.

— Груня, ты не сердись. Мы с Егорычем раздавили. С устатку оно очень даже пользительно,—оправдывался Зеленцов. Он не спеша разделся, потом старательно мылся холодной водой, фыркал и кряхтел от удовольствия.

— А Пашка где?—спросил он, покончив с умыванием.

— Там... Мастерит что-то.

— Ты его не обижай. Хотел я его в ФЗУ устроить, да не выгорело. Мал еще.—Зеленцов с сожалением вздохнул, но, увидев небольшой сверток, оживился:—Пашка! Иди-ка сюда! Гостинец я тебе принес.

При виде хромовой глянцевитой кожи Пашка зацвел робкой предупреждающей улыбкой, как бы говоря: «радоваться-то страшно, обманете еще».

— Тебе на сапоги взял,—сухо говорит Зеленцов, а лицо его хитрое и в глазах смешинки. Как будто и он робеет порадоваться вместе с Пашкой.—Сам будешь себе сапоги шить, я только скрою. Ну, как товар?

— Хорошая кожа... Спасибо!—бормочет и все-таки не верит, что это правда. Пряный и тугой запах кожи бьет в лицо. В руках Зеленцова она похрустывает и шумит. Пашке хочется засмеяться громко и раскатисто, но так явно выразить свою радость ему стыдно. Он отворачивается, пряча улыбку, старается не дышать, но не мог сдержаться и расхохотался.

И сразу сконфузился, устало опустился на стул и тихонько заплакал. Супруги переглянулись. Зеленцов озадаченно вздернул плечи, как набедокуривший школьник, и отошел к окну. Груня бестолково засуетилась по комнате.

— А ведь я и забыла,—радостно заговорила она,—к тебе приходил кто-то.

— Кто же?

— Я и не спросила...

— Тот... в очках, который за сандалиями...—пояснил Пашка и снова насупился.

— Это наш конторщик,—догадался Зеленцов.

— Да вот он сам идет.

Вошел высокий, сухощавый человек в белой рубахе, с расстегнутым воротом, на продолговатом лице холодно блестели круглые очки.

— Я второй раз к вам,—улыбнулся он,—как мои сандалии?

— Придется денька два обождать, не готовы.

— Ну, это не так много два дня. Только сделайте добросовестно. Если бы вы знали с каким трудом я достал кожу...

— Сделаю хорошо,—уверил Зеленцов.

— А кожа хорошая, правда?

— Ничего, кожа добрая,—согласился Зеленцов.

— Садитесь чай пить,—пригласила Груня.

— Спасибо!

Чай он пил как-то неуверенно, смешно выпячивая губы, и торопливо облизывался, как испуганный кот.

— Вы патент платите или нелегально работаете?

— Это как же нелегально?

— Ну, как некоторые кустари.

Зеленцову показалось, что этот человек способен видеть во всем нелегальщину.

— Какой же я кустарь? Сами ведь знаете кто я. На заводе я один сапожник и есть, вот и своим кое-что делаю... И то работаю не из корысти, а просто люблю свое ремесло. К тому же вот парнишку в учение взял, ему польза.

— Так...—Согласно кивнул гость. Его высокий загорелый лоб лоснился от испарины, он обмахивался платком, протирал очки, близоруко щурился.

— Сын?—кивнул он на Пашку.

— Нет. Беспризорника усыновил.

— Похвально! Ужас что с детьми творится!..

Заказчик скорбно покачал головой, но тут же тревожно оглянулся, точно боясь подслушивания, торопливо распрощался, обещав зайти через три дня.

Зеленцов в этот вечер сделал заготовку сандалий и дал Пашке:

— Вот твоя первая проба. Не подкачай,—строго предупредил он Пашку.

Два дня Пашка трудился, стараясь во всем подражать Зеленцову. Подошвы оказались не в меру толстыми и Пашка боялся сломать шило, но и это обошлось благополучно. Он аккуратно сострогал края и когда пришил подошвы, получилось очень красиво: пришитая к ранту, подошва немного выгибалась и Пашка догадывался, что дратва не будет касаться земли, значит сандалии красивы и прочны.

Сандалии были готовы, Пашка не мог налюбоваться. От Зеленцова он получил похвалу.

— Молодец! Хорошо сделал. Ты теперь настоящий мастер,—говорил он, осмотрев сандалии,—поплюй на них!

— Зачем?

— Для фарта, чудак!—засмеялся Зеленцов.

— Ты мне еще одни заготовь, я еще лучше сделаю.

— Ладно, ладно... старайся, это хорошо. Поставь сандалии-то на подоконник, пусть на колодках подсохнут.

Но Пашка не выпускал их из рук и все рассматривал ранты, желая обратить внимание Зеленцова на красивые тонкие урезы с ровненькой строчкой.

II.

На следующий день, когда Зеленцов пришел с работы, Пашка сообщил ему:

— Был этот грач-то.

— Какой?

— Заказчик-то.

— Ну?

— Не взял сандалии. Поглядел, поглядел, да говорит, опосля зайду. Осердился.

— Не поглянулись, что-ли?

— Не знаю.

— Ну и чорт с ним. Ты один дома?

— Один. Тетя Груня на речку ушла.

Пришел заказчик. Он сосредоточенно разглядывал подошвы сандалий; бороздил их острым ногтем. Мрачно сопел и хмыкал. Зеленцов досадливо теребил усы.

— Дайте с колодки сниму.

— Не трудитесь. Я их не возьму,—сказал заказчик и голос его дрогнул.—Вы подменили подошвы.

У Зеленцова гневом засветились глаза.

— Говори, да не заговаривайся! Я двадцать пять лет работаю и меня никто не попрекал этим.

— Очень жаль. Стыдно обманывать своих же товарищей. А вообще—это преступление. Подменять.

— Да ты смеешься, али нет?—ощетинился Зеленцов.

— Имейте мужество признаться, факт налицо,—заказчик швырнул сандалию под верстак.

— Подыми!—приказал Зеленцов.

Тот ехидно скривил губы, но сандалию поднял. И тут же, сердясь на себя за эту уступку, гневно топнул ногой.

— Возврати мою кожу!

— Не топай. Кожа у тебя в руках.

— Где?

— Разуй глаза—увидишь, застеклил зенки-то.

— Жулик...—взвизгнул заказчик и побагровел. Губы сразу посинели и нервно задергались, обнажая щербатые зубы.

— Наж тебе за мою кожу!—взвизгнул он и ударил Зеленцова по голове сандалией на колодке.

Горячая кровь обрызгала лицо и руки Зеленцова. Заказчик схватился за голову и выбежал из квартиры. Пашка застыл на месте.

— За что?—услышал Пашка голос Зеленцова и заметил растерянную улыбку на бледном лице. Тут же он вскочил на ноги,

сапожный нож блеснул в руке, но перед глазами все закачалось и поплыло куда-то в сторону. Он грузно опустился на табуретку и опять также растерянно улыбнулся.

Пашка передернулся всем телом, громко заплакал и бросился в ноги к Зеленцову.

— Это я виноват... Я края у подошвы-то срезал, чтобы красиво было, ой-ой, что я наделал-то.

Крупные слезы катились по его бледным щекам и горько дрожали на остром подбородке.

— Не знал я, не знал, что он драться будет... Сказал бы я об этом,—рыдал Пашка.

— Стой, стой, не плачь!—слабым голосом попросил Зеленцов. Слезы и детский шопот, кровь и подошвы! Зеленцов зажмурился.

Признание Пашки ошеломило его своей откровенностью и смелостью.

— Ну, ладно... а ты напугался...

— Нет, ты побей меня, пусть и мне больно будет.

— Зачем? За правду не бьют.

— А тебя-то?

— Меня? Н-да...

Зеленцов болезненно сморщился. Пашка всхлипнул.

— Да перестань хоть ты!..

Пришла жена и ахнула.

— Такой помощник скоро тебя на тот свет отправит.

— Он не при чем. Это тот, продажная душа...

— Не оправдывай!—прикрикнула Груня.—Этот сопляк тоже должен спросить, что можно делать и чего нельзя...

Пашка забился в угол, боялся вздохнуть, не зная, что делать и куда смотреть.

— Лучше бы и меня избили, чем так-то,—подумал он.

Утром Зеленцову стало хуже.

Груня, глядя на него, сокрушенно вздыхала. Пашка тоже вздохнул и вышел на улицу.

Он шел по улице, сам не зная, куда, но с несомненной уверенностью встретить заказчика и расквитаться с ним.

Незаметно для других, он поднял гладкий голыш и, спрятав его в карман, пошел еще медленнее, всматриваясь в лица прохожих.

Незаметно дошел до завода. Увидев красную большую вывеску, чему-то обрадовался. Завыл гудок. Хриплый звук закурчавился белым паром, соскользнул на реку, снова взмыл вверх и неожиданно замер где-то на раскате.

Пашка остановил черноволосого, сутулого парня.

— Дяденька, возьми меня с собой работать.

— Куда? В бабки играть, что ли?

— Я сапожничать умею.

— Ну, и сапожничай на здоровье.

И ушел. Из контрольного прохода выбежал чумазый мальчишка в замасленном комбинезоне и с чайником в руке. Второпях налетел на Пашку и остановился. Пашка взъерошился.

— Ну, ты! Задрыга, осовел, что-ли!—прошипел Пашка, надвигаясь на парнишку.

— Ты чо, ты чо...—растерялся парень.

— Дам вот раза!—Пашка показал булыжник, парень сразу сник.

— Ты что здесь делаешь?—строго спросил Пашка, а тот, как беспомощный пленник, тихо бормотал:

— Работаю... и учусь в ФЗУ...

— А меня примут к вам?

— Не... не знаю. Тебе сколько лет?

— Двенадцать, наверно...

— Стало быть, не примут,—решительно отрезал парень.

— А тебя ж приняли.

— Ну, так мне уже четырнадцать.

Фабзаучник дернул плечом и так взмахнул свободной рукой, как бы поясняя, что они величины далеко несоизмеримые.

— А я сапожничать умею!—крикнул Пашка, готовый сейчас поколотить парня за два лишних года.—Я один...

— Пашка! Ты что же это...—вдруг услышал он голос Зеленцова и от неожиданности выронил камень.

— А я тебя ищу, с ног сбился...

Зеленцов взял Пашку за руку и тихо шепнул, точно по секрету:—пойдем.

— А-а... ты вон какой!—радостно протянул парень, словно он разгадал великую тайну.

— Он у нас такой,—так же неопределенно отозвался Зеленцов. Пашка покорно шел за ним, не решаясь спросить, куда.

Перейдя на противоположную сторону, Зеленцов устало опустился на скамейку.

— Вот... А говорила не найду,—вслух подумал он, вспомнив свой разговор с женой. Пальцы рук у него дрожали, он нервно поглаживал свои колени, сосредоточенно рассматривал Пашку с той же тревожной радостью, как несколько месяцев тому назад на этой же самой улице.

— А напугал ты меня, Паша,—вздохнул он, поглядывая на свои вздрагивающие пальцы,—ну, пойдем,—сказал он, но не сдвинулся с места.

— Куда пойдем?—спросил Пашка.

— Домой.

— Айда искать заказчика.

— Не надо, он сам найдется.

Зеленцов вдруг выпрямился, гордо поднял свою забинтованную голову и решительно сказал:

— Пошли!

А. ТОРГАНСКИЙ

ПОД КРЫЛОМ НОЧИ

— Вставай, парень, вставай!—тряс за плечо Степана дед.

— Чаюют ваши-то, вставай!

Степан сипло вздохнул, чавкнул что-то невнятное, вяло открыл глаза.

И поплыла сперва муть сизая с рыжим пятном свечи, затем тускло выступили фигуры людей, черные стены. В груди закисло от тяжелого воздуха. Во рту прогоркло. Он с храпом сплюнул несколько раз через плечо в чернь пола, прыгнул с лежанки. Ичиги за ночь высохли и закорузли, с хрустом налазили на ноги. Выпрямляясь, Степан отгреб пятерней русые волосы на затылок, огляделся.

За узким досчатым столом, на потертой лавке, сидели двое, сопя, прихлебывали чай. У рыжего бородатого довольно щурились глаза, капал с лица пот. Белесый чубастый юнец, краснея, дул в блюдце. Таращил водянистые глаза. Густо парил медный с прозеленью чайник.

— Вы что ж меня не взбудили,, как встали?—спросил Степан.

— А так, не всхотели и вся. Лежал бы колодой, а мы б ушли. Гонись потом,—проскрипел Губастый.

Степан отвернулся и шагнул к двери.

— Худо, ребята, делаете, худо. В тайге товаришша не лад спокидать. Не к добру это,—поймал уже за дверьми дедовы слова Степан. Шагая к берегу реки, он жадно, до боли в ребрах, глотал студеный бодрящий ветер. Легчала голова. Светлели мысли.

Огромным угрюмо-черным омутом плескалась в тайге ночь. Капала сквозь чернозем туч скупая звездная бель. Ветер сметал с гольцов острую снежную пыль. Хлипали сосны. Степан присел у проруби. Ладонью снял тонкую пленку льда. Полные пригоршни воды плеснул в лицо. Защипало щеки. Разгорелись. Обтираясь подолом рубахи, загляделся на черное пятно воды. Задумался.

Поползли мысли.

— Скоро конец пути,—думал он.

— Затем дом, родные... Четыре года разлуки, тоски, эх-хе... Ушел тогда из деревни. Как о приисках прослышал, ушел. Три года тяжелого, упорного труда, а теперя вот, фарт. И потрогал под грудью грузную подшивку с золотом. Он любил этот груз сильной пьянящей любовью. Часто по ночам, хватаясь за него дрожащей рукою, слышал, как, поднывая, трепетало сердце— тут, тут, тут...

Вот прикачу домой, мать утешу. Слыхал, в колхозе теперь. Рыжий год как оттель—сказывал:

— Раскулачили, грит, меня, едва утек с сыном. А народ-то весь в колхоз вбухали. И матку твою тоже. Бедствуют, грит, с голоду пухнут. Ох, врет, одначе, лиса... Ну-к, что ж я и колхозу подсоблю. Всем. Всем. Пусть узнают, каков я.

Он ярко улыбался. И вдруг угрюмилось лицо, твердели скулы. Вспоминался пройденный путь—длинный, томительный; рисовался остальной—многоверстный, со страшными полыньями на еще не окрепшем льду и хмурыми, угрюмыми спутниками.

Осторожней становился Степан. Он понимал, что причиной тому девять фунтов под грудью, чуял, что в конце пути не выдержат его спутники и тогда... Он вздрагивал.

— Уйти от них тайком, но куда? Дороги он не знает. Наугад опасно—тайга, смерть. А путь знает только Рыжий и продукты у него с сыном.

— Эх, худо, худо,—прошептал он и поднялся. Глаза задержались на кромке льда.

— Тонок еще, не надежен, не треснул бы где...—И, вздохнув, направился к зимовью.

Когда вошел, Рыжий с Губастым уже собирались.

— Скорей. Некогда нам с тобой тута,—проворчал Рыжий.

— Куда торопишь,—вступился дед.

— Пущай почают парень хоть как следует. Ведь нелегка, поди, дорожка. Сам-от, поди, брюхо натоптал.

— Цыц, старый! Не твово ума дело. Сиди себе. Нам с ним грех один. Хитрый больно стает. Сзади, стервятник, топает, по готовому. Сам знаешь, какая нынче дорога. Река-т не шибко надежна.

— Чую, чую!—забормотал дед.—Не реку боится, вас опасается, кабы не ухлопали сзади, с того и в хвосте.

— Нно, чертова седина, придержи язык! Не то...

— Не реви, не испужаешь, не у себя в дому!—заскрипел дед.

— Много вас таких с приисков хаживает, знаю ваши повадки, не одного смирял. Не лупи зенки, что стар.

Рыжий зло посмотрел. Стерпел. Насупился. Пыхтел и Губастый. Степан быстро ел. Старался быть спокойным, но не мог... Дрожали руки и куски с трудом проглатывались.

— Ишь ты, жадюга кулацкая!—думал он, косясь на Рыжего.

— Своего золота мало, что ль? У-у, паучина!..

— Оставайся-ка ты, парень, у меня!—Обратился к нему дед. Пробудешь до весны, а там лодку столкнем и вместях вниз. А то зимой, может, с каким добрым человеком отправлю, может, пройдет кто мимо...

— Будет, дед, парня с панталыку сбивать!—забеспокоился Рыжий.

— Он, чай, пятый год матерь свою не видит. Тоже и мы, звери, что ль ему? Вместях ведь жили, сообща старались.

— Что так помягчел вдруг? Аль убыток почуял?—усмехнулся дед.

— Ты, дед, не встревай всюду, как сучий хвост. Не сунься, ведь и отвадить недолго,—заскрежетал Рыжий.

— Ишь, дерьмо поганое, как вдарю вот!—спрыгнул Губастый.

— Цыц! Сукин сын, пшел на место!—рявкнул на сына Рыжий.

— Вот что, мил господа!—затрясся злобой дед.

— Подите-ка вы отсель к чорту! К чорту! Паскуды!—И цапнул винтовку. Двое, сграбастав сумки, рыча, выкатились в ночь. С треском хлопнула дверь.

— У-ух, гады!—задыхался дед.

— Ну, я пойду,—вставая из-за стола, сказал Степан глухим, но твердым голосом. Угол его рта нервно подергался и потянулся в злую улыбку. Нахмурились брови.

— Эх-хе, парень. Не сплошай. Убьют тебя. Бойся. Не двигайся лучше. Сиди.

— Не, дед, пойду. Я берегусь. Зря не дамся. А иттить нужно. Потому четыре года разлуки... И воообче...—И нагнулся собирать вещи.

— Ну, мотри. Твоя воля. Только зглядывай чаще. Иди сзади. На ночевках спи чутко. Одним ухом. Нож коло руки хорони. Как полезут, бей сперва старого в горло, в горло подлюку. Молодой трус, да и слабей тебя, взмолится. Ну, ступай с богом. Хоронись только, хоронись.

Степан покинул зимовье.

***

— Я говорил, тять, что ране его надо было ухлопать, в другой же день, как четверо отстали. А теперь вишь?

— Поговори! Знашь много! Надо было! Знаю сам, что надо было. Держать язык в пасти надо было, вот что! Виду не подавать, поколь случай, надо было! Понял? А ты в тот же день, как четверо ушли в другую сторону, вид подал. Да затвори, дурень, пасть, затвори! Глазами вид подал, вот что. Он и перехватил, насторожился, глупей тебя, что-ль?..—Они остановились на льду, против зимовья. Смолкли.

— Ну, что ж теперича, тять?—робко промямлил Губастый. Пропадет золото-ить.

— Цыц! Щенок! Замри, подлый, покель не изувечил!

Губастый отскочил, трусливо съежился. Хлябнула дверь. Вышел Степан.

— Что ж это, никак идет,—вздрогнул Рыжий и сердце защекотала надежда...

— Значит, надумал, с нами идешь?—слащаво обратился он к подошедшему Степану.

— Ну, вот и ладно. Вместях веселей будет. Ну, что ж, ребята, пошли... И заскрипел снег...

Висела темь. Жесткие лица скреб грубый ветер. Шелушил кожу. Нудно бубнил в уши. Мерзлыми руками цапал за края полушубков, совал в теплые меха снежные пальцы, грел. Люди вздрагивали, ускоряли шаг. В местах, лысых от бесснежья—скользили. Зло потрескивал лед. Молчали. Каждый перебирал свои мысли.

— Нечего с ним возжаться,—думал Рыжий.

— Будя, намаялись. Кончим разом и вся и концы в полынь. Тогда с этаким золотом можно хоть за границу. Да-а.

Всплыло черным пузырем воспоминание. Хозяйство, раскулачивание, колхоз. Все это вертелось, кололо, потом лопнуло, только осталась удушливая злоба.

— У-уу, сволочи! Сожгу! Вырежу!—скрежетал он зубами. А тебя, змееныш, первого разорву,—свирепо скосился он на Степана.

— Э-эш, морда! Это ж твоя матка подзуживала, чтоб меня разорили. Это ж она полезла в колхоз первая.

— У-у, скотское племя!..—Он злобно засопел волосатыми ноздрями и сжал кулаки.

Ревел в горах ветер. Кряхтела тайга. У Губастого дрожала нижняя губа. Поднывало сердце. Он шел в середине и ему казалось, что вот-вот нож Степана вонзится ему в спину.

— Кабы где бадаг понадежней, тогда б не так страшно было,—грузно ворочал он пудовые мысли.

— Тогда я б его в башку евным бадагом меж глаз, этак, чтоб враз выдохся,—и с опаской поглядывал назад. Но там во мраке было все покойно. Лишь мерно раскачивалась широкая фигура Степана. Скрипели шаги. Белел снег. Черная, многолапая тайга жадно цеплялась за крутые горбы гор, пялилась высоко вверх и там, в серой мякоти туч, мелко зубчатилась. Там жили ветры.

Как древние, обомшалые старцы, печально кивали туманы.

Степан думал. Зарницами взлетали и гасли мысли. Вспоминалось былое. Чем дальше уходил он от прошлого, тем приятней становилось воспоминание. И все, когда-то черное и трудное, казалось теперь много светлей и легче.

Тайга, поиски. Ключ «Топкий». Там их артель нащупала богатую россыпь. Лихорадка труда. Осень. Отработка лучшего участка. Конец продуктов. Дележка золота. Он остро чувствует, с

какой радостной дрожью получил свои девять фунтов; как тревожно хоронил их под грудью.

Затем они идут по ключу к реке. Ложится снег. Звереет стужа. Грузно наваливается голод. Река. Шуга. Три дня без пищи. Шаги смерти. И вдруг медведь... Бо... И мясо, горячее, славное мясо. Стала река. Осторожно пошли по льду. На стрелке двух рек четверо свернули в сторону. Рыжий, Губастый и он пошли прямо. В первый же день зародилась тревога. На второй выросла и окрепла в зимовье деда. Шагая сейчас за ними, он чувствовал, что идет почти на верную гибель и порой хотелось ему резко повернуть назад и бежать, бежать сколько хватит сил от смерти.

Но сила, та упрямая сила, не дававшая остаться в зимовье, толкала вперед. И он шел.

На одном из поворотов реки их путь преградила полынь.

Огромной черной жабой лежала она через всю реку и мрачно блестела мокрой кожей.

Голова ее была воткнута в пенную пасть свирепого, еще не скованного льдом ручья. Задние ноги упирались в скалы другого берега. Еще несколько жаб, менее крупных, чернело рядом.

Трое осмотрелись и, мрачные, подошли к скалам. Потоптались в нерешительности. Передним полез Степан.

Осторожно, цепляясь за каждый выступ, за каждый сухой куст, медленно, пядь за пядью пробирался он над алчной, смертельной полыньей.

Вот и конец. Тихо-тихо спустился на лед. Перебрались остальные.

Едва не погибший, трясся всем телом Губастый. Хватался за сердце.

— Экий ты малохольный, уж и раскис,—ворчал на него Рыжий.

Скурлыкал под ногами снег.

Светало. Чуть желтели серые облака. Чуть голубело небо.

Медленно таяли редкие звезды.

Крепчал ветер.

Все чаще попадались полыньи; и когда в одну из них чуть не провалился Рыжий, передним пошел Степан.

Пробираться приходилось с трудом и большой опаской. Только острый глаз да внутреннее чутье помогали ему верно выбирать путь. И вот, на довольно безопасном участке реки, когда Степан меньше всего ожидал чего-либо, вдруг захрустел снег, и что-то сзади ухнуло в спину. Падая, он услышал, как, вскочив на него, гаркнул Рыжий:

— Федька, бей! Сапогом в башку!

— Р-руби!!!

Степан захрипел и, вдруг выскользнув, с ревом рванул по лицу Рыжего, сбил с ног Губастого и, сгибаясь, понесся вперед.

— Ллови!!! У-у-у!..

— Хва-атай!!!—завыл Губастый и четыре ноги затрещали о лед.

Распластавшись, летел Степан.

Вдруг—хрум, хряст; и черное зево смерти лязгнуло под ногами. Перелетев полынью, Степан хлестко вытянулся о лед. Охнул. Задохнулся. В ушах звон. Красные пятна в глазах... Что это?

Жуткий звериный вой резанул тишь. И вдруг, как эхо, ударил второй, смертельно надсадливый.

Хрястнул лед. Зачавкала, забулькала вода... Степан вздрогнул. Вскинулся. Дико взглянул вокруг.

На льду никого. У ног вороная, алчно разинутая полынья. Она хитро плюется пеной. Сытно ухмыляется морщинами волн. Скалит зубы льда.

Но вот успокаивается, замирает. Лишь чуть слышится ровное, мягкое дыхание: улю-лю, улю-лю.

Хохочет ветер.

Как зачарованный, стоял Степан. Что-то странное, угрюмое и громоздкое грузно ворочалось в груди.

Как редкие, осенние листы на ветру, трепались беспомощные мысли.

— Что же это, что же?—шептал он сухими, шершавыми губами.

— Сгинули ведь...

И не мог понять, жалко ли их, нет ли; только чувствовал, что случилось что-то большое, страшное, бесповоротное. Он долго топтался вокруг, будто что-то ожидая, затем махнул рукой и, глубоко вздохнув, медленно, минуя полынью, пошел назад к зимовью.

Вскипала заря.

Е. СЕЛИВАНОВА

У РАЗБИТОГО КОРЫТА

Волков, лежа на кушетке с закинутыми на подушку ногами, неподвижно смотрел в потолок. Назойливо жужжавшая муха поминутно садилась на его рыжеватую бровь и неприятно щекотала веко. Волков не замечал. Он только морщился, да изредка встряхивал взлохмаченной головой.

— Как же так? Что значит ее отказ?—думал он, чуть ли не в десятый раз перечитывая коротенькое, только что полученное письмо:

«Мне больше не нужна твоя помощь, и потому от алиментов я отказалась. Заявила, чтобы их с тебя не удерживали. Ирина».

— Скажите, пожалуйста, какая гордость! Ей больше не нужна моя помощь. А как же она без нее существовать будет? Или на свою стахановскую мощь надеется. Ну, что же? Пусть надеется. Глядишь, через неделю и зубы в коробочку положит. «А что если ребенок умер»,—вдруг словно исподтишка укусила Волкова холодная догадка, и он мигом сорвался с кушетки.

— Конечно, умер, теперь корь, дизентерия. Иначе зачем бы отказываться от алиментов, тем паче, сейчас, когда я по закону обязан отдавать ей четверть ставки.

И Волков, точно дятел по стволу, быстро зашагал вдоль заплеванной окурками половицы. В открытое окно, вместе с запахом смоченной дождем пыли, врывалось дробное выстукивание сапожных щеток и бойкое выкрикивание:

«Чистим, длистим, начищаем, только блеск не обещаем».

Навалившись на подоконник, Волков протянул на улицу волосатые руки. Мелкие капли дождя, срываясь с дрожащей листвы черемухи, приятно охлаждали его ладони. Волков быстро тер ими по возбужденному лицу и с удовольствием крякал.

— А все-таки Ирина меня любила. Да я и теперь по временам чувствую, что поспешил расстаться. Разве к ней самому сходить. Узнать, что и как? Может, если девчонка в самом деле умерла, то...

И, взглянув мельком на стеклянный кувшин, отразивший его безобразно вытянутое лицо, стал быстро одеваться. На улице

Волков вспомнил, что не знает адреса Иры, и, почему-то обрадовавшись этому, бесцельно повернул к парку.

— Ну ее, придешь, а она, чего доброго, скажет: «Пришел, скажет, мерзавец, я из-за тебя с голоду ребенка сгубила, а ты явился»—и раз меня по щеке. Впрочем, это на Иру не похоже. Она всегда была тихая. И Волков ярко вспомнил их последнюю встречу.

Пришел он к Ире за своими вещами, и пока набивал чемоданы, Ира, сжав у подбородка худенькие руки, не отрываясь следила за ним из темного угла комнаты. Волков не видел ее лица, но вздутый беременностью живот Иры мешал ему. Он словно укорял Волкова и вызывал в нем какую-то приглушенную к жене жалость.

— Чего стоишь?—спросил раздраженно, не оглядываясь на нее.—Выйди.—Но Ира не двигалась. Тогда, схватив наспех захлопнутый чемодан, выбежал из комнаты.

После, когда Волкову приходилось об этом вспоминать, он всякий раз представлял себе желтые пятна, страшно уродующие худое лицо Иры, и черную струйку волос, пересекающих устремленный на него глаз...

— Товарищ Серж, куда это ты плетешься с понуростью савраски?—услышал Волков направленный в упор бас.

— А-а-а, Потапыч, здравствуйте!

И Волков с радостью сунул свою руку в крепкое пожатье подошедшего.

— Иду, куда ноги ведут, а вы?

— На пляж. Кто чем, а я солнцем заряжаюсь. Рекомендую, всем живым и мертвым, в том числе и вам.

Потапыча в городе знали все. В рабочее время он был опытным фармацевтом, а во время отдыха—балагуром и простоватым философом. Родом Потапыч был из одного местечка с Волковым, потому знал его лучше других, не церемонился с ним и был запросто груб. Когда Волков жил с Ириной, Потапыч бывал у них, и часто журил Сергея за пренебрежительное отношение к жене. После развода Волков встречал старого Потапыча только на улице, да и то редко, а потому сейчас Сергей несказанно ему обрадовался и с удовольствием пошел вместе на пляж.

— Ну, так что же, попрежнему скулишь на жизнь, или уже теперь лаешь?—спросил Потапыч, завязывая на голове узелки носового платка.

— Рычу,—ответил Сергей, располагаясь на непросохшем еще песке, и подставляя солнцу оголенную спину.

— Ого, значит, намордник надо. А в чем дело?

— Надоела мне моя жизнь. Так, кажется, завязал бы глаза, да и бежал от нее без оглядки.

— Не понимаю.

— Бабы, Потапыч, меня доняли. Окончательно доняли.

— Мотя, что ли?

— Нет. Вера.

— Эта какая же по счету? Третья?

— Четвертая,—смутился Волков.—Ограбила, взяла все до гроша и скрылась. А ведь я в последние месяцы около тысячи вырабатывал. Верил ей, а она...

— Молодцы бабы, это они тебе за Иринку мстят. А я бы на месте Моть, Вер и Тонь отгрыз бы тебе нос к чортовой матери, а потом посмотрел, стал бы ты за юбками гоняться. Чем Иринка была плохая жена?

— Некрасивая и с какой-то особенностью.

— Да ведь особенность в человеке все равно, что свежая струя в затхлой комнате. Эх, ты, пугало. Она в тебя жизнь вдыхала, а ты ей всю молодость испакостил. Сам знаешь, чужие люди на работу устроили. Если бы не они, пропала бы Иринка. Обидел ты, Сергей, жену.

— Знаю,—угрюмо согласился Волков, и небрежно швырнул камешек в набежавшую волну.

Мимо, смеясь, проходили отдыхающие.

— Сегодня записку от нее получил. Отказывается от алиментов.

— Как отказывается?

В удивленьи голова Потапыча повернулась к Волкову так резко, что левый кончик повязанного платка настороженно приподнялся вверх.

— Не нужно, говорит, больше.

— Значит, девчонка умерла,—проглушил Потапыч, принимая прежнюю позу.

— А разве ребенок болел?

— Дифтеритом. Заходил я раз—дочурка совсем была никудышная.

— Я тоже так решил, когда прочитал записку. Хотел было сам сходить, да раздумал.

— И правильно сделал.

— Да что вы, Потапыч, напустились на меня? Ведь если бы не ребенок, я, может, жил бы с Иринкой и сейчас. Сами знаете— не люблю я ребят, а девочек тем паче.

— Жил бы. Видать тебя. Врешь. Никогда ты ее не любил. Взял только до смены на другую. Иринка же такая, брат ты мой, стала, что твоя модная пластинка патефона. Только о ней и слышишь: «Стахановка значкистка, стахановка рекордистка. Ирина Павловна Стрижак».

Потапыч замолчал. Подняв к глазам бинокль, он обвел им широкий пляж, усеянный цветными зонтиками и остановился на вышке купальни.

— Прокаркал ты, Сережа, свое счастье. Прокаркал.

Волков не отвечал. В его воображении рисовалась маленькая уютная комнатка, недошитая детская распашонка, скомканная

Волковым в пылу гнева, и вкусные поджаренные сухарики, приготовленные Ирой специально для него.

— На, гляди скорее на вышку,—загудел Потапыч, всовывая Волкову бинокль.—Выше, выше, на верхний ярус гляди. Видишь? Кого видишь?

— Ну, женщину.

— Да ты не нукай, вглядись, кто?

Волков вздрогнул и, не отнимая от глаз бинокля, быстро помальчишески, пополз на коленях вперед.

— Ира, Иринка!—громко выстукивало сердце.

На узком трамплине вышки, под самой синевой неба, стояла Ира. В белом купальнике, с распростертыми руками и запрокинутой вверх головой, она была похожа на чайку, готовую реять в розоватых лучах солнца.

Сергей видел, как, не сгибая стройного тела, Ира медленно отделилась от трамплина, как, рассекая воздух, плавно сомкнула над головой ладони и медленно врезалась ими в недвижную гладь реки.

— Потапыч, я не могу. Я должен с ней поговорить, слышите, Потапыч.—Волков быстро стал одеваться.

Перекинув через плечо полотенце и часто оборачиваясь к отстающей девочке, Ира медленно шла вдоль берега.

— Неужели это моя... моя дочка?—шептал Волков, неотрывно следя за ребенком. Девочка останавливалась, поднимала что-то с земли и с протянутой ручонкой бежала к матери.

— Моя кровная... А я то отказался. Хотел ее смерти... Ира!— С болью стиснутого спазмой горла выдавил Сергей и преградил Ире дорогу.

— Ира, ведь это дочь... да?.. моя?.. моя?..

Оторопев, Ира с испугом подхватила девочку на руки.

— Да ты не бойся, я ничего. Я только посмотреть.—И Волков с жадностью еще раз оглядел ребенка.

— Дядя, а мы с мамой купались. Ага, а ты нет,—и, разжав кулачок, в котором копошилась черненькая козявка, добавила:— Смотри, какого я жучка уловила.

Наивный лепет ребенка щекоткой пробежал по сердцу Волкова. Он весь ожил и, не сдерживая нахлынувшей радости, скомканно ответил:

— Замечательный жучок, удивительный жучок.

— А ты мне поймаешь еще одну?

— А ты пойдешь ко мне?—С неожиданной для себя смелостью ответил Сергей вопросом.

Девочка взвизгнула и радостно потянулась к Волкову. Ира не возражала больше. Она молча шла рядом.

— Как тебя зовут?—спросил Волков, когда девочка, обхватив его шею рукой, стала ковырять в оттопыренном ухе.

— Катя.

— А сколько тебе лет?

— Скоро три.

— Это что—случайность, или ты меня искал?—холодно спросила Ира, поворачивая к Волкову свежее от воды лицо.

— Нет. Я думал притти, но не знал адреса.

— А письмо мое получил?

— Какое письмо? Нет, не получал,—солгал Волков и почувствовал, что краснеет.

— Я писала об алиментах. Не нужны они мне больше.

— Почему? Зарабатывать стала много?

— Да, ничего, хватает. Недавно меня назначили мастером пошивочного цеха.

— Все на швейфабрике?

— Все там.

— Там...

Некоторое время шли молча.

— Ира, а какая у нас... у тебя замечательная дочка.

Ира настороженно подняла брови.

— А разве ты забыл, как чуть ли не с кулаками заставлял меня сделать аборт, как на каждом слове тыкал меня в живот и брезгливо сплевывал, разве забыл, как беспомощную и нигде не работавшую, ты меня бросил без куска хлеба.

Слова Ирины жгли и хлестали Волкова. Тесней прижимая к себе девочку, он с мольбой смотрел на Ирину.

— Не надо. Зачем. Не надо сегодня об этом... Я знаю, я не заслуживаю, но ведь я могу? Ирина, ведь ты позволишь мне заходить к ней?.. Я буду редко... Я только к девочке.

Ирина молчала. Шли по главной улице. Витрины магазинов привлекали Катю и заставляли Волкова поминутно останавливаться. Он боялся выплеснуть радость, но ему казалось, что лицо его похоже на дождливое небо, сквозь тучи которого упорно пробивается косой солнечный лучик.

Ирина часто кивала на приветствия и тепло улыбалась знакомым.

«Ей чуть ли не весь город стал близким»,—думал Волков, глядя на завиток волос, нежно прильнувший к ириной загоревшей шее.

— Постриглась. А какие были косы. Единственное, что я так любил в ней.—Ира, точно подслушав мысли Сергея, встряхнула головой.

— Обрезала, это потому, что ты все время запрещал мне.— И, подумав, добавила.—Нет, я нарочно. Просто надоели, длинные, неудобно.

Возле кондитерской Ира остановилась, взяла из рук Сергея Катюшку и звонко ее поцеловала.

— Мы зайдем полакомиться. До свиданья, Волков,—и запросто протянула руку.

— Дядя, приходи и жучков принеси. Придешь?—спрашивала Катюшка, теребя кончики его полосатого галстука. Волков ожидающе смотрел на Иру.

— Ну, хорошо,—согласилась та.—Улица Свободы, восемнадцать.

Встреча с Ириной лишила Волкова покоя. Он давно потерял удовлетворенность в своей жизни, а теперь она ему казалась зловонным нарывом, заражающим все его нутро. Дома Сергей больше не мог оставаться. В квартире все его раздражало и приводило в ярость. Расшвыривая по полу ботинки, Волков изорвал в клочья красненькую кофточку Веры, которую она, очевидно, забыла. Ломал и бил вещи, напоминавшие ему краткосрочных жен, царапал в исступлении стены и глушил водку. Успокаивался Сергей мыслью о дочке.

Образ Катюшки всюду преследовал Волкова, он чувствовал на своей щеке ее, пахнувшее молоком, дыханье и слышал ласкающий голос.

— «Дядя, посмотри, какого жучка я уловила».

«Дядя!» Она зовет меня дядей, и я не имею права сказать ей правду. Сказать, что я не дядя, что я—отец. Пусть негодяй, пусть сволочь, но все-таки отец. Да, да отец, и даже Ирина не смеет отнять у меня моих прав. Ирина!

И Волков снова и снова возвращался к прошлому. Он представлял себе аллею заглохшего парка, прикурнувшую у ствола дуба скамеечку и на ней ее—Иру с умирающей ласточкой. Рядом в траве валялось разореное гнездо и раскрытый учебник физики. Здесь впервые с ученицей девятого класса, Ириной Стрижак, встретился формовщик метзавода Сергей Петрович Волков. Потом была любовь, потом беременность Иры и ссоры из-за будущего ребенка, потом увлеченье бойкой танцовщицей и, наконец, разрыв с женой.

Мысли обо всем этом надрывали грудь Сергея и мешали работать. В цех он приходил или раздраженным до такой степени, что не мог сделать ни одной формовки, или, окрыленный надеждой на то, что все перемелится, давал небывалые рекорды.

— Что с тобою, Волк, ты ровно шалый стал?—говорили ему однобригадники.

— Собираюсь, товарищи, устроить засаду на счастье. Я его проворонил, а теперь вот подкарауливаю. Хочу, так сказать, с цап-царапать. Охота пожить настоящей семейной жизнью. Только не знаю, с какого бока приступить.

— Да в чем дело?

Волков рассказал.

— А главное, ребенок. Убей меня на этом месте, я никогда не думал, чтобы эдакая мошкара нутро переворачивала. Тянется, носишку морщит, а сама все болтает-болтает.

— Да, история путанная, а все-таки я на твоем положении действовал бы напрямки,—говорил молодой формовщик Вяткин, недавний ученик Волкова.—Быстротой и натиском. Зачастил бы к ней, сдружился с этой, как ты говоришь, мошкарой, а там раздва и ваших нет. Так и так, мол. Ребенок не только твой, ребенок пополам. Давай, словом, жить вместе. И больше никаких лаптей.

Под такие советы Волков формовал для мартена плиту. Легко управляя набойкой, он жадно прислушивался к каждому слову и с гордостью наблюдал, как в ячейках опоки плотно и быстро утрамбовывается земля.

«Не плита будет, а малина»,—подумал Сергей и тут же с поспешностью отпрянул в сторону. Над головой грохотал мостовой кран.

— Какого чорта зеваешь,—услышал он сверху раздраженный голос крановщицы.—А если бы я тебя по башке саданула.

— Какая грубая,—пронеслось где-то в подсознаньи Волкова и ему снова вспомнилась Ира. Маленькая, робкая, она жмется в угол, и, с испугом закрывая серые глаза, прячет в них неисчерпаемую глубину любви.

— Ванюшка!—крикнул Волков Вяткину,—я решил. Я завтра же к ней схожу.

В парикмахерской Волков требовал поровнее проложить пробор волос и не жалеть одеколона.

— Ну, и рожа,—думал он, внимательно рассматривая себя в зеркало. Под круглыми, как орехи, глазами свисали мешковатые отеки, а по щекам расползались красные ручейки жилок.

— И кто на такую образину польститься?—думал Сергей, изящно заламывая шляпу. Накупив для Катюшки всяких лакомств, Волков по дороге к Ире, поминутно взглядывал на свое отражение в витринах, и, принимая солидный вид, с трудом удерживал быстрый шаг. «Как-то она меня примет»—спрашивал он себя взволнованно.—«Хоть бы прошлого не касалась. Хоть бы позволила вылить все, что за это время наболело. А я... А мне от нее ничего не надо. Я только приласкаю дочурку. Катю. Мою девочку».—И Волков мысленно щекотал Катюшку колючей щеточкой рыжеватых усов. На дряблых щеках стыла улыбка, и далеким огоньком вспыхивала надежда.—«Со временем прошлое забудется. Ира увидит во мне нового человека и тогда... тогда мы так сдружимся... так все трое заживем...»

В размахе мечтаний Волков не заметил, как подошел к подъезду дома № 18, как разыскал квартиру и постучал в дверь.

— Да-а-а,—услышал он густой бас и переступил порог.

— А, Волков. Проходите,—пригласила Ира, захлопнув том энциклопедии, и быстро поднялась навстречу.

Волков неуклюже свалил свертки в угол дивана и с любопытством оглядел комнату. В глубине ее, за чайным столом, над которым низко свисал матовый абажур лампы, сидел молодой мужчина. Примостившаяся на его коленях Катюшка, строила из цветных кубиков башню. Она так увлеклась ею, что не заметила, как вошел Волков.

— Катюшка, здравствуй,—тихо позвал Сергей.

Девочка радостно вспыхнула и протянула Сергею ручонки.

— Вы не знакомы? Познакомьтесь,—прервала Ира, обращаясь к молодому мужчине.—Это, Павел,—Сергей Волков, мой бывший муж, о котором я тебе рассказывала. А тебе, Волков, рекомендую моего теперешнего мужа.

— Павел Стахов,—прогудел бас, обхватывая сильными пальцами сухую руку Волкова.

В горле Сергея что-то забулькало, и по лицу поползла растерянная улыбка.

«Как муж, зачем?.. Я—муж... Я»,—стонало и металось в его груди. Волков хотел возразить, потом раздумал и пытался поздравить, но слов ни на то, ни на другое не находилось. В сердце, как в дырявом кармане, было пусто.

А Павел что-то басил, Ира вторила, Катюшка теребила за длинный палец, безжизненно свисавшей руки.

«Катя, дочка, дочурка»,—клокотало в сердце.

Сергей не слышал окружающих. Сидя вместе со всеми за столом, он часто подносил ко рту пустое блюдце, и не отрывал взгляда с краснощекой матрешки-грелки, важно восседавшей на голубом чайнике.

— Дядя, ты мышей кушаешь?—Словно сквозь толстые стены услышал Волков Катюшку.

— Кушаю,—ответил деревянно.

— Ага, ага, а ты, папка, говорил, что человеки не кушают.

Катя забавно трясла рыженькой головкой и обнимала шею Стахова. Кто-то поперхнулся надтреснутым кашлем. Где-то оборвался смущенный смех.

«Пропало, все пропало»,—думал Волков, и сквозь устало опущенные веки видел худенькие ручки Кати.

На улице многие, обгоняя Волкова, часто его толкали и, оборачиваясь, брызгали в лицо смехом.

— Дяденька доказывает земли вращенье.

— Да, есть такой грех. Изрядно хлебнул.

Волков шел, описывая ногами вензеля, то выбрасывая вперед, то удерживая на месте, сразу отяжелевшее тело. Шляпа его

назойливо лезла на левый глаз и еще больше придавала Волкову сходство с пьяным.

— Все пропало,—говорил Сергей вслух.—А я то, болван, размечтался, в отцы было сунулся.

На одном из перекрестков улиц он вышел из толпы к электрическому столбу и взглянул вверх.

— Светишь? Ну, и свети.

Над головой кружился рой мошкары и янтарным яблоком свисал фонарь.

— А я, брат ты мой, опять к разбитому корыту. Вильнула моя золотая рыбка хвостиком, да и скрылась.

ЮРИЙ ФЕДОРОВ

ПОРОГИ

Итак решено. Вчетвером налегке
Должны мы пройти к неизвестной реке
И там, возле каменных хмурых лав,
В Хонгарском ущелье начать лесосплав.
...В холодном тумане весеннего дня
Мы шли к реке, топорами звеня.
И вплоть до прихода ночной темноты
У бурной реки мы рубили плоты.
Когда же сверкнула заря вдалеке,
Покинув ночлег, мы спустились к реке,
...И солнце вставало над грудой камней
И сопки, казалось, пылали в огне,
Холодные струи кружились, вились,
Мы оттолкнулись и... понеслись.
И разом ударили в оба весла.
...Направо—скала,
Налево—скала.
И пенится ручка у каменных щек,
Готовая скалы стереть в порошок.
И молнией мчится,
Как будто стремится
О скалы...
    о камни...
Разбиться, разбиться,
И кинуться вниз,
И рассыпаться вдрызг,
Чтоб радугой вспыхнули тысячи брызг,
Чтоб струи в стремительном беге запели,
Чтоб к цели прорваться из каменной щели..
Такую устроила кутерьму,
Что, кажется, здесь не пройти никому...
...А нам?
Неужели, ребята, и нам.
Веселые жизни дробить по камням...

Нет. Нет. Не хотим умирать. Не хотим.
Под солнцем весенним, таким золотым...
...В жемчужных каскадах—оранжевый свет
Гранитные гряды оскалились... Смерть.
Направо ударишь—
    туман под водой,
Налево—
    утес обомшелый седой.
Бойцы караулят, кружала кружат,
Сосновые греби пружинят, дрожат.
И струи свиваются синим жгутом,
Как легкою щепкой—играя плотом,
И, кажется, волны злорадно мурлычат:
«Попалась добыча, попалась добыча»...
...Ужели парням девятнадцати лет
Сплетения хитрости не одолеть?..
Бей.
Струям и грудам камней
Не смыть,
    не сломить,
        не отбросить парней.
Кружатся кружала—летим напролом,
Оскалятся скалы—ударим веслом.
Ударим и грянем,
Поднимем и бьем,
Уверенно встанем
И песню споем:
«Кипящие струи,
Холодная смерть
Уверенность нашу—
Не трогать. Не сметь».

РАСПРАВА

(рассказ партизана)

Думаешь это старость—
Эти седые виски?
Это память осталась
Злых берегов реки.
  Помню... роняя седины,
  Глухо шумела тайга.
  Ноябрь навалился льдиной—
  Кружит, метет пурга.
Хлопает ставнями ветер,
Окна—подвалы тьмы,
Раненые в лазарете
С братом лежали мы.
  Нас стерегла неудача...
  В мутный, холодный рассвет
  Белыми был захвачен
  Наш тыловой лазарет.
Ввалились в палату лавиной:
— Дать сюда шомпола.
...Товарищей половина
Под ливнем стальным легла.
  И кончив кровавый завтрак,
  Старший скривил рот:
  — Кто не стоит—до завтра
  Кто может стоять—в расход.
— Расстреливать недалеко,
И прежде всего—раздеть,
Чтоб видели эти из окон
Своих то-ва-ри-щей смерть.
  — Прощай, братишка милый,
  Помни—победа близка...
  ...Рыдания остановила
  Прокушенная рука.
  ...Стоит догола раздетый
Над берегом смертный ряд

И ветер донес мне:
— Где ты?
Где ты? На помощь отряд.
Высокий в черном бешмете
Рукой отрубил:
— Пора.
И разом свинцовой плетью:
— Залп...
И в ответ...
— Да здра...
И снова свинцом обрушась,
Залп... один... другой,
И крик последний заглушен
Ударом в висок ногой.
Высокий в черном бешмете
Хрипло сказал:
— Убрать.
Сумерки... стужа... ветер...
Так был расстрелян брат...
...Дни борьбы и печали
Я память о них берегу,
И стану я тверже стали
В ненависти нашей к врагу.

СТУЖА

Стужа...
Далекие склоны гор
Кажутся крыльями чаек
Тихо. И утро
Словно монтер
Звезды последние
Выключает.

Вскину ружье
И на выкрик ствола
Лес отзывается
Вздохом,
Кедры сутулятс'
Пряча тела
В темно-зеленые дохи

Стужа строга
И не смеет при ней
Взвиться над деревом птица,
Стужа хватает за плечи людей,
В горло готова вцепиться.

С пастью звериной
Упряма и зла
Бродит у белых предгории,
Зубы снегов
Оголив добела,
В недрах земли
Схоронила тепла
Сотни мильонов калорий.

Там—под снегами и мерзлотой,
В жирных пластах антрацита
Временем-скрягой,

Как клад золотой,
Было тепло это скрыто.

Стужа...
А штреками ко стволам
Уголь плывет
И мы верим,
Что уползет
К ледовитым морям,
Кровью зари исходя по утрам,
Стужа затравленным зверем.

ПРИЛЕТАЛИ...

По утрам, когда волною русой
Ветерок играл на речке чуткой,
Прилетали издалека гуси.
Да кружили по спиралям утки.

Они видели Алтая скалы,
Карты черные полей с полета.
Но отваги полные, искали
Комариные в кустах болота.

От земли не отрывая взора,
На лету вытягивая шеи,
Отыскать хотели те озера,
На которых по летам жирели.

И низина и река знакомы,
Но низина дымная иная...
И подслушав перезвон и гомон,
Дичь метнулася, испуг роняя.

В перьях дыма разглядели птицы,
Ружей каменных большие дула,
И встревоженная вереница
На простор окраин повернула.

Знаю я, когда весну встречая,
Зеленью оденутся деревья,
Стая птиц, летящая на север,
Не узнает нынешних окраин.

Г. ФАЙНШТЕЙН

МАЯКОВСКОМУ

Копыта годов
    месяцами отцокали
И ложатся дни,
    как трава.
На многоголовом
    человеческом цоколе
Высится
    твоя голова.
Но тебя не бронзового
        на плечи поднял,
Наш
    сверкающе-
        звонкий век,
Знаем мы,
    что вчерашний живой
        и сегодня
Ты шагаешь,
    как самый живой человек.
Владим Владимыч,
    видишь—
        стою,
Опоясанный
    красным крепом?
Владим Владимыч,
    слышишь—
        пою,
Над твоим гигантским склепом?
Скажи—
    ну, как сегодня не петь,
Окутанному
    в солнечные ризы?
Над твоей могилой
    памятником
        ведь

Стоит
  построенный в боях—
    социализм.
И мнится мне,
  как будто наяву,
Что ты поешь,
  стоя со мною рядом,
А перед нами
  мнут
    годов траву
Твои стихи
  сверкающим парадом.
Жизнь
  шумит
    многоголосым хором.
Как и ты
  по ней
    шумел бывало,
И звенит,
  шагая через горы,
Развеселый
  комсомолец-запевало.
В этой песне
  юной
    и счастливой
Слышишь
  слов знакомых
    теплоту,
Над страною,
  с солнечною гривой,
День встает
  в смеющемся цвету.

Е. СЕЛИВАНОВА

НАКЛАДНАЯ № 3007

Бухгалтер Быков лениво обмакнул ручку в чернила и, зевая, взглянул на перо. С притупленного конца его тяжелой каплей свисала разбухшая муха.

— Ишь, выдра, налакалась,—подумал он, а вслух, обращаясь к стоящей у стола девушке, надменно прохрипел.

— Повторяю еще раз, если вы, гражданка Ибрагимова, в трехдневный срок не погасите недостачу, мы будем вынуждены передать дело прокурору и привлечь вас за растрату.

— Да ведь я не тратила! Понимаете? Я ничего никогда не растрачивала!—исступленно закричала девушка.

— Нельзя ли к порядку?—басил Быков, изображая на промокательной бумаге утку.

— Согласно документов, за вами числится тысяча рублей. Будьте любезны в три дня.

Ибрагимова больше не кричала. Не двигаясь, она тупо смотрела на дымящийся в пепельнице окурок. В голове девушки, словно в заглохшем пустыре, придавленно блуждала мысль: «Денег нет. Вносить нечего. Значит, конец».

Ибрагимова не заметила, как чей-то широкий пиджак, с державшимся на одной пуговице хлястиком, загородил от нее бухгалтера Быкова.

— Лелька, ты?—прозвучал за спиной знакомый голос. Ибрагимова оглянулась и растерялась.

— Петька!

Радость встречи горячим румянцем лизнула ее смуглые щеки.

— Петька, выручи. Ты можешь, Петенька!—Захлебываясь потоком нахлынувших слов, Лелька глазами искала в его лице поддержки.

— Тише, чего ты, дура. С гвоздика, что ль соскочила? Пойдем отсюда.

Ответ Петьки морозом пробежал по телу. Лелька съежилась и пошла медленно, спотыкаясь.

— Ну, чего еще?—спросил он в конце коридора под широким веером пальмового листа.

— Да ведь ты же знаешь. В моей кассе нехватает тысячи рублей.—Лелька снова зажглась надеждой.—Петька, выручи, ты по облигации... ты сам говорил, что выиграл. Займи. Я потом. Я когда-нибудь...

— Хм, «когда-нибудь». Ты, девочка, что-то несусветное городишь. Пойди проспись, а я не намерен деньги кошке на хвост нанизывать.

— Как же так,—растерянно бормотала Лелька,—ты же говорил, что любишь меня, что.. что...

— Что женюсь? Ну, говорил. А ты и поверила?! Нет, Ибрагимова, твой номер не пройдет. Деньги ищи у другого. Пока.

И, покружив над головой кепку, Петька на каблуке повернулся к Лельке спиной.

В эту ночь Лелька не спала. Мысли, как загнанные мыши, не находили выхода. Лелька в бессильи грызла ногти, поминутно взбивала подушку, ища на ней холодный кусочек для пылающего лица, и, устремляясь в потолок, подолгу не сводила глаз с электрической лампочки.

«Что делать? К кому обратиться? Просила подруг—смеются. Сами гроши получают. Думала вещи продать, да что у меня есть. И что можно взять за старье. Одну-две сотни не больше. А мне надо тысячу, целую тысячу!»

Лелька вскакивала с постели, шлепала босыми ногами по холодному полу, высовывалась за окно и снова бросалась под одеяло. О Петьке Лелька сейчас не думала. Мысль о нем заслонил большой неповоротливый вопрос. «Как же случилось, что денег нехватает? Ведь я ни копейки никогда не утаивала, ни одной спички, некупленной на свои трудовые деньги, не принесла домой. Неужели просчиталась? Нет, не может быть. Ну, на сотню, ну на две, а ведь здесь целая тысяча и только за месяц. Да у меня и покупателей оптовиков нет. Кому же просчитаться?»

И вдруг блесточкой мелькнула надежда: Антон, товарищ Антон... Быстро откинув одеяло, Лелька забилась в уголок кровати, охватила руками подогнутые колени и, положив на них подбородок, слабо улыбнулась.

— Может быть, Антон выручит. Он серьезный и зарабатывает много,—думала Лелька, представляя сильную фигуру скрипача.—Он каждый день покупает у меня по две пачки папирос, а сам одинокий. Я попрошу, и относится он ко мне хорошо. А это ничего, что я иногда думаю о нем, что завидую той, кого он любит. Антон не знает об этом и мне не будет стыдно. Ну, а если откажет, тогда...—И Лелька с ужасом трясла растрепанной головой.

«В трехдневный срок. Сроку три дня»,—выстукивало сердце холодную дрожь.

Серовато-рыжий рассвет, протиснувшись узенькой змейкой сквозь неплотно прикрытые ставни, обхватывал угол стола с зачерствелым ломтиком хлеба и двумя увядшими гвоздиками, задевал выглядывавшую из-под кровати стоптанную туфлю и золотил худенькие колени и большую бабочку, уснувшую вместе с Лелькой на ее вскудлаченных волосах.

О верх кожаной кепки Антона тяжело ударили первые капли дождя. Близко, будто у самой щеки, вильнула молния и прокатился гром. Антон приподнял к затылку воротник пиджака, ссутулился и, размахивая футляром скрипки, широко зашагал вдоль закрывающихся магазинов.

— Антон, товарищ Антон!— задыхаясь, кричала Лелька. Волна встречных часто загораживала его широкие, как лопаты, плечи. Лелька останавливалась, растерянно шарила по мелькающим спинам и снова бежала.

Дождь с каждым раскатом грома усиливался. Частые капли его по волосам Лельки сбегали за воротник и поминутно срывались с ее тонкого, словно выточенного носа. Антона Лелька догнала у самой его квартиры, когда он быстро поднимался по темной, пропитанной луком лестнице.

— Антон, товарищ Антон!

— Лейла, ты?—удивился Антон, подхватывая под руку обессиленную Лельку.—Ко мне и в дождь? Вот не ожидал. Ну, баладжа ханум, селям-алейкюм, коли такое дело,—попробовал он пошутить, но заметив, что шутка не удается, поспешно повернул в замке ключ...

— Так... значит, ты ко мне за помощью,—говорил Антон через час, точно по клавишам бегая пальцами по краю стола.— А когда ты мне возвратишь эту тысячу.

Лелька не отвечала. Она только тесней запахнула на себе широкий пиджак Антона и, забившись в угол дивана, упорно смотрела на спящего под столом дога.

— Сколько ты получаешь?

— Сто пятьдесят.

— И тебе хватает?

— Не всегда.

— Так из чего же ты будешь погашать долг? Ты понимаешь, что дать тебе тысячу, это значит подарить ее тебе. Я, Лейла, не Ротшильд. У меня старушка мать в деревне.

Говоря это, Антон обрывал лепестки вынутой из букета ромашки и, скручивая их в шарики, подбрасывал на ладони. Потом он залпом выпил стакан остывшего чая, с шумом двинул стул и, широко распахнув окно, высунулся на улицу. Лелька молчала.

«Значит, конец». Безнадежность разъедала сердце и Лелька чувствовала, как все ее тело, словно проколотый мяч, медленно выпускает последние силы. Глаза сводила дрема. В ушах стоял предсонный звон.

— Послушай, Лейла,—Антон решительно подошел к Лельке и сел рядом. Я дам тебе деньги, но с условием,—он подумал, пошевелил, подыскивая слова, губами, и, заметив вопросительные глаза Лельки, выпалил.

— Пойдем завтра в ЗАГС?

— Зачем?—не поняла Лелька.

— А так. Чтобы не расставаться больше.

Лелька вплотную подвинулась к Антону и внимательно посмотрела в его глаза.

— Нет, не врешь, а я думала...

И вдруг с испугом выдавила:

— Но ведь я же Петьку люблю.

— А Петька тебя?—скрывая волненье, спросил Антон. Лелька не отвечала.

— Ну, вот, видишь, а я тебя даже сказать не могу как. Ты знаешь, Лейла, это ничего, что ты сейчас, потом ты меня крепко полюбишь. Иначе нельзя. Ведь я тебя так люблю, так люблю.

И, порывисто прильнув к ее удивленно полуоткрытым губам, почувствовал холодную влажность зубов.

— Как ты смеешь? Пусти!

Вырываясь, Лелька с силой оттолкнула Антона.

Шум разбудил дога. Он недовольно повел глазами, зевнул и снова положил морду на вытянутые лапы.

— Я к тебе, как к товарищу. Я думала, что тебе...—прижавшись к двери, Лелька вместе со слезами глотала обиду.—Воспользовался случаем. За что?.. Потому, что я татарка? Да? Да?

— Да нет же, Лейла, ты не поняла. Я думал, что и ты...

— Не говори, не смей, ненавижу!

И, рванув дверь, Лелька стремительно побежала с лестницы. Выпавшая из волос гребенка, медленно закачавшись, повернула к Антону свои выщербленные зубья.

В эту ночь Лелька опять не спала. Ее широко открытым глазам представлялась плюшевая спинка кресла и откинувшийся на нее лысый затылок с трясущейся родинкой. Это Быков. На развернутой странице отчета он старательно вырисовывает утку и, перевешивая через крахмальный воротник жирный подбородок, важно басит: «Дело передано прокурору. Можете не беспокоиться». Лелька до боли стискивает веки и в зарябивших от этого кругах видит широкие ранты до лоска начищенных туфель, зеленые запонки и мягкие, как плюш, усики Петьки.

— И ты поверила? Готовилась к брачной жизни! Ха-ха, ну и дура! Лелька стонет и в бессилье комкает простыню.

— Не надо, успокойся, Лейла. Я никому не позволю тебя обидеть.—Голос, как ласка. Лелька прислушивается и узнает Антона. Пугливая улыбка слегка трогает ее заплаканные глаза.

— Не верь. Неправда. Выхода нет,—шипит Быков сквозь редкие скважины зубов, и Лелька снова мечется по горячей подушке.

Не спится также и Антону. Черный силуэт города, обрамленный крестообразной рамой окна, в которое смотрит Антон, напоминает ему Лельку такой, какой он видал ее только однажды.

Ночь. Река. Вспыхивающий маяк и байдарка. Ловко управляя юрким веслом, с которого стекают струйки, Лелька поет. Тишина и лунный свет, словно в газ обволакивающий Лельку, делают ее совсем прозрачной и какой-то таинственной. О чем она пела—Антон так и не понял. Широкий размах слов на ее родном языке обнимал реку и убаюкивал прибрежные домишки.

— Ну и голос. Да ведь таким голосом можно камень заставить плакать,—думал Антон и все слушал-слушал. А когда его шлюпка поравнялась с ее байдаркой, крикнул:

— Селям алейкюм, Лейла!

Но Лелька не слышала. Закрыв глаза, она гребла и пела.

— Осел. И чорт меня дернул с поцелуем,—ругал себя Антон,—где я теперь ее найду. Как передам деньги. Адреса не знаю, в ларьке она больше не торгует. А главное, завтра ехать надо. Уеду, тогда все пропало. Засадят девчонку. У-у, чорт.

И, с досадой раздавив в осколки подвернувшийся стакан, Антон вытер о скатерть прорезанную руку и устало повалился в постель.

— Ведь люблю же. Люблю, как чорт знает что. И вот на тебе. Вместо того, чтобы спасти от позора—оскорбил ее. Как же уверен был, что и я не безразличен ей. С чего взял? С того, что смотрит ласково? Что как-то руку позволила задержать в своей? Осел. А теперь что делать?

Только на рассвете, когда тюлевая штора окрасилась в лиловато-розовый тон и с улицы донеслось первое шмыганье метлы, Антон решил узнать в бухгалтерии ОРС'а лелькин адрес и отнести ей деньги. «Пусть заплатит. А приеду—разберусь, кто там у них действительный растратчик. Не может быть, чтобы Лейла». И, прикрыв ставни, стал раздеваться.

* * *

Когда из ларька Петьки ушла последняя покупательница, он придвинул к двери ящик, чтобы она не открывалась, и, подбоченившись, гоголем заходил вокруг Лельки.

— Что опять деньги пришла просить?

Вопрос не дошел до Лельки. Занятая своими мыслями, она внимательно следила за Петькой.

— Петька, неужели за два года у тебя ни разу не было просчетов?

— У меня? Хм, чего захотела. Да я продавец—во. Мировой! У меня скорее прибудет, чем убудет!—И, вскочив на прилавок, стал выбивать чечотку.—Хочешь угощу самыми, что ни на есть лучшими конфетами. Хочешь в кафе свожу. Мне это теперь— плюнуть, потому как больше тысячи выиграл. Во!—И заметив, что Лелька его не слушает, кинул в нее огрызком яблока. Лелька вздрогнула и словно впервые с жадностью оглядела ларек.

— Счастливый ты, Петька. И торговля у тебя хорошая, и на виду у начальства ты. А я... я... последние дни на свободе. Завтра дело в суд передадут. Засадят.

— А, ты все об этом?—зевая, протянул Петька.—Надоело. Пришла-то зачем?

— Проститься. Ночь я сегодня, Петька, не спала. Все думала, и о тебе думала. Вспоминала, как целовала тебя, как верила, что любишь. Пойду, думала, хоть еще раз гляну. Пришла, а глядеть-то и не на что. Пусто, Петька, в сердце и ты—это не ты, а дешевая петрушка. Зачем вчера меня дурой назвал? А?

— Ну, заскулила,—перебил Петька, набивая карманы пряниками. Брось, от исповеди твоей касторкой прет. Вот посидишь, так и дурой не будешь. Второй раз в чужую кассу не полезешь. А сейчас что ж... Иди уж поцелую. А? Помнишь, как под черемухой, когда венок тебе плел?—И Петька с распростертыми объятиями направился к Лельке.

— Не подходи!—сверкнув глазами, Лелька замахнулась тяжелой гирей.—Так и оглушу.

— Что ты, что,—бледнея и пятясь назад, бормотал Петька.—Я пошутил. Я ничего.

— Открой дверь, гад!—приказала Лелька, все еще не выпуская гири. Пятясь и оглядываясь, Петька дрожащими руками отодвинул ящик, и, когда открыл дверь, украдкой вздохнул. Лелька прошла молча, не глядя на него.

Подслеповатая лампочка тускло освещала беленький беретик Лельки. Сидя на полу у двери комнаты Антона, Лелька бессознательно смотрела на стоящий в углу водяной бак и прислушивалась к падающим в кастрюлю каплям. На лестнице, скрипя подошвами, раздались шаги.

— Антон!—Лелька быстро поднялась навстречу.

— Лелька, вот хорошо! А я тебя весь день ищу. Раза два у тебя был. Уезжаю я. На, возьми, пожалуйста, деньги.

— Куда едешь? Какие деньги? А как же ЗАГС?—словно горохом сыпала Лелька.

— Едем все. Весь оркестр на Алентуйский курорт едет. А деньги те, что ты просила. ЗАГС'а не надо. Это я вчера по глупости.

— То есть как по глупости? Ведь я же никогда не смогу их тебе возвратить. А жить мне хочется. Антон, я не хочу в тюрьму.

— Ну и прекрасно. И не будешь. Я обойдусь. Ты не беспокойся, Лелька, иди.

И, смеясь, потрепал плечо ничего не понимающей Лельки. «Как же так,—думала она,—значит, я неправа. Антон отказывается от ЗАГС'а, а деньги дает, значит, он действительно меня...»—и, сдвинув упрямо брови, Лелька твердо заявила:

— Я решила. Пойдем в ЗАГС.

— Как? Ты сама? А Петька?

Лелька хрустнула пальцами и с болью выдохнула.

— Яман Петька.—Потом тихо засмеялась и шопотом закончила:—Лейла его никогда не знала.

Время шло. Лелька восстановлена на работе. Она носится от полки к полке. Уверенно взвешивает, внимательно проверяет деньги и выдает сдачу. А когда стрелка ходиков показывает пять, Лелька закрывает свой магазин, подсчитывает кассу и, аккуратно записав ее в книгу «торговли за день», уходит домой. Так день за днем прошел месяц лелькиной семейной жизни.

Знакомые Лельки, узнав о ее замужестве, поздравляли, шутя напрашивались в гости, шутя желали двухтысячного пособия на седьмого ребенка. В стороне от всех оставался Петька. Благополучие Лельки его словно врасплох застало.

С Лелькой Петька разговаривал только под хмельком.

— Ну, как она жизнь? Что пишет половина?

Лелька брезгливо кривилась и спешила уйти.

Антон ей писем не писал. Сначала Лелька не придавала этому значения, но под конец месяца стала тревожиться, и все чаще и чаще вспоминала сцену на вокзале.

— По доверенности ты в радиокомитете получишь мою зарплату,—говорил Антон, сжимая холодные пальцы лелькиных рук.—Сытней питайся и непременно купи туфли. Да, вот еще, постарайся завтра же перевезти свои вещи. Ну, вот, кажется, все. Не скучай, больше читай и пой, а когда вернусь, поговорим о консерватории.

Прервал второй звонок. Антон заволновался и горячими ладонями приподнял к себе лицо Лельки.

— Хотел еще что-то сказать, да вот забыл... ах, да. Лейла, скажи ты меня совсем... никак не любишь?

Глухо и резко забилось лелькино сердце. «Думает, что продалась, что за тысячу рублей...»,—шарахнулась холодная мысль. Язык отяжелел и говорили одни только глаза.

— Не надо. Молчи. Вижу. Все вижу,—чуть слышно сказал Антон.—Ничего, может быть, все устроится.

Потом, стоя на площадке, долго махал шляпой. Прислонившись к перонной колонне, Лелька провожала взглядом зелененький флажок последнего вагона.

Первые дни новой обстановки пугали Лельку, но постепенно она к ней привыкла, присмотрелась к каждой вещи Антона, и стала часто вспоминать его. В конце месяца Лелька так встревожилась его молчаньем, что ходила справиться об Антоне в радиокомитет, в оркестре которого он играл. Там какая-то блондинка игриво повела подбритыми бровями и засмеялась.

— Какая вы чудачка «не пишет». Ну и что же? Просто человек занят. Пользуйтесь, душечка, случаем, флиртуйте во-всю. Вернется, такой свободы уж не будет.

И что-то напевая, стала подкрашивать губы.

Антон приехал ночью. Первым узнал об этом дог. Он радостно заскулил, припал на брюхо, и, громко фыркая, стал нюхать щель между полом и дверью, за которой нетерпеливый ключ никак не мог попасть в замочную скважину. Лелька быстро накинула платье и впустила Антона. В первое мгновение оба молча, ожидающе смотрели друг на друга. Потом Антон, широко улыбнувшись, крепко пожал Лельке руку и поцеловал морду, прыгающего дога.

До приезда Антона Лельке казалось, что с его возвращением должно произойти нечто необычное, и что в этом необычном Антон обязательно повернет ее жизнь по новому, широкому течению.

Дни между тем шли, а Лелька Антона почти не видела. Живость и веселость его как-то поблекли, отношения к Лельке стали суше, встречи с ней все реже и реже. Антон теперь приходил только на ночь. Приходил, устало отодвигал скрипку и, не раздеваясь, ложился на диван. «Что с ним? Отчего такая отчужденность?»—думала Лелька и с каждым днем все нетерпеливее ждала Антона. Вскоре Антон на несколько дней совсем исчез, а когда вернулся, не взглянув на Лельку, взялся за скрипку. Сквозь низко спущенные шторы просачивались синие сумерки и тени плавно качались по полу. Антон играл. Никогда прежде Лелька не слышала такой музыки. Как будто чье-то сердце жаловалось в ней, как будто слышались невыплаканные слезы. Лелька жадно смотрела на преобразившееся лицо Антона, и с ужасом замечала, как тугой неповоротливый ком обиды спазмой сдавливал ее горло.

— Не надо, не могу. Оставь!—крикнула Лелька и с судорожным рыданьем упала на подушку.

— Лейла, детка, Лелечка, что с тобой?

Растерявшись, Антон метался по комнате, не зная что делать.

— Я... ты... я давно хотела сказать... Не могу я больше так, ради милости. Скажи, чтобы я ушла, не мучай.

— Да, что случилось? Я мучаю? Лелька, чем?

— Всем. Все нервы... Я жду, я целые ночи думаю, а ты... почему ты до сих пор ничего не узнал о растрате. Ты же обещал.

И Лелька в приступе нахлынувших слез поперхнулась кашлем. Нелегко было Антону привести ее в чувство. А когда все-таки успокоил, дал Лельке слово завтра же навести справки о приписанной ей растрате.

— Ну, а насчет моего отношения к тебе, что же делать, не могу, Лелька, иначе. Если тебе у меня очень тяжело, то...

— Куда, куда я пойду. Ведь мою комнату уже заняли.

— Ну, вот видишь, Лелька, я чувствовал, что тебе тяжело со мной, и потому старался не бывать дома. А за комнату не беспокойся, я постараюсь сделать для тебя все.

Лелька слушала, говорила сама, а в глубине чувствовала, что все это не то, чем полно ее сердце.

— Ты прежде со мной шутил, а теперь. Приходи домой хоть обедать. Мне скучно одной.

Антон обещал и, прощаясь, сказал, что идет дежурить к больному товарищу.

— Экая, понимаешь, у вас там волокита,—говорил Антон, макая в соусную подливку ломтик хлеба.—Главный ваш завмаг уехал в отпуск, ну, а заместитель, как баран в опере, только глазами хлопает—«Ничего,—говорит,—не знаю. Вот приедет Пал Ваныч, тогда вы с ним, а я тоже, я в его делах рыться не могу».—Придется тебе, Лейла, еще немного потерпеть.

В комнату постучали.

— Входите.

— Входите,—пригласил Антон и с радостью протянул вошедшей обе руки. Звонко смеясь и разливая пряность духов, девушка бесцеремонно разглядывала Антона.

— Так вот вы где прячетесь. Ай, бессовестный, а я целую неделю вас жду. Ну, теперь вы от меня не уйдете.

— Не мог, Лизочка, простите... дела, семья. Не знакомы с женой?

— Ну, как не знакомы—щебетала гостья.—Я хорошо помню, как она приходила к нам справляться о вас.

— Обо мне.

— Ну, да. О муже, который не пишет.

— Лейла, ты что же мне сама об этом не сказала?

Лелька не отвечала. Изумленная появлением и непринужденностью белокурой девушки, она даже не проглотила кусок и с

выпертой от этого щекой следила за каждым движением незнакомки.

— Ну, пойдемте,—звала Лиза.—Я все приготовила и нам никто не помешает.

Подавая Антону скрипку, она кокетливо заглядывала в зеркало.

— Лейла, ты... я видишь ли скоро вернусь. Ты не беспокойся. И, пропустив девушку вперед, Антон громко засмеялся на какую-то брошенную ею фразу.

Приподняв уголок шторы, Лелька наблюдала с какой осторожностью Антон вел под руку Лизу.

«Теперь мне все ясно,—думала Лелька, с ужасом замечая, что в горле у нее почему-то пересыхает, и что зубы ее отчего-то стучат.—Ушел. Даже не поел, как следует. А я-то старалась. Хотела, чтобы вкуснее. Дура. Так вот какой у него больной товарищ, вот к кому он уходит. Потому-то и комнату старается найти. Ну что ж и хорошо. Я все равно хотела уйти. Вот только как с тысячей быть? А впрочем ничего, со временем отдам».

И чувствуя во всем теле усталость, Лелька опустилась на большой пушистый ковер, раскинутый на полу и, подложив под голову руки, закрыла глаза.

«Окончу консерваторию, буду выступать в концертах, тогда и долг отдам».

Антон осторожно вошел в комнату и повернул выключатель. Голубовато-матовый свет облил стол с прерванным и неубранным обедом, измятую под ногами салфетку и свернувшуюся посреди пола Лельку. Чтобы не разбудить ее, Антон сбросил ботинки и, присев подле, долго и влюбленно смотрел на ее исхудавшее личико и зажатое в руке куриное крылышко. Потом, затаив дыханье, откинул с глаза Лельки мягкий завиток волос, выбившийся из полурасплетенной косы и, осторожно подняв на руки, перенес на кровать.

— Разрешите сверить ваши накладные еще вот по этим фактурам,—гудел бас заведующего центральным магазином ОРС'а.

Антон подал кипу накладных, по которым Лелька принимала у Павла Ивановича товар, и стал внимательно следить за его проверкой. Круглый и, как моток, юркий Павел Иванович стрелял серыми горошинами глаз по корешкам фактурной книжки, часто подбирал к переносью топорщившиеся во все стороны брови и поминутно шмыгал носом.

— Есть. Нашел,—бухнул, как из пушки, и острым ногтем провел черту под итогом одной из фактур.—Слушайте, по фактуре

№ 3007 от 20-го апреля 36-го года отпущено следующее. Читаю, а вы следите по вашей накладной 3007 сами. Пятьдесят килограммов сахару, двести килограммов соли, пятьдесят килограммов хозяйственного мыла, восемьдесят килограммов разных конфет, два ящика спичек, сто килограммов пряников, ну и прочее. Сходится с вашей накладной?

— Ну, конечно! Копия.

— Так это значит она и есть. Можете итти спать, получите свою тысячу обратно.

— Ничего не понимаю,—разводил руками пораженный Антон.

— А тут и понимать нечего. У меня черным по белому написано. Фактура № 3007. Продавцу ларька № 10 Петру Воробьеву отпущено то-то и то-то. Понятно? Петр Воробьев по вашей накладной получил. А за Ибрагимовой этого товара вовсе не числится. И фактуры я на нее такой не выписывал. Вот, извольте сами посмотреть.

— Ну, как же получилось, что накладная за № 3007 выписана на Ибрагимову и растратчицей считается все-таки она.

— Не понимаете? Экий же вы, право, тяжелодум. Накладную-то не я выписываю. Накладная бухгалтерией выписывается. Ну, там и напутали. Там жуков много. Спутали мои фактуры и вместо Воробьёва выписали накладную за № 3007 на Ибрагимову. А та тоже девчонка, рот разинула и бу-бух подписала. У нас ведь часто бывает так: товар, скажем, срочно должен быть распределен по ларькам, вот и рассылаешь, а накладные на них еще не заготовлены. Продавец дает временную расписку, что значит, получил то-то и то-то, а через день, два приходит на этот же товар накладная и в них продавцы расписываются вторично. Ну вот, с Лелькой так и получилось. Запоздали с накладной, а когда принесли, она, подписывая сразу несколько своих накладных, подписала второпях и эту. Вот и все. Вот и стала растратчицей товара, которого не получала. Да я и так помню—в апреле не брала Лелька у меня ни мыла, ни соли. Это там напутали,—Быков—бухгалтер товарной группы. Я его знаю. А фактуры я им даю, что ни на есть копии с этих вот корешков...

Не слушая дальше объяснений Павла Ивановича, Антон выбежал из магазина.

Накануне выходного Лельку вызвали в бухгалтерию. Встретил ее все тот же стол, на котором вместо прежнего одного окурка возвышалась целая гора их, и все тот же призывавший к порядку и грозивший Лельке судом бухгалтер. Но как он изменился. Это уже не был дракон, внушавший Лельке ужас, на его месте не сидел, а подцепленным на крючок червяком извивался красный, точно обмокнутый в томат Быков.

— Э-э-э, товарищ Ибрагимова. Как вас... Лейла... простите, не знаю отечества. Здрасте, э-э-э, присядьте.—И бухгалтер, вобрав живот и бесшумно семеня на носках парусиновых туфель, обеими руками поспешно подал Лельке стул.—Будьте добреньки... пожалуйста...

Лелька резко отодвинула стул.

— Видите ли я... я хотел, я...—Быков растерянно разводил короткими, как ласты, руками, поминутно облизывал губы, и прятал робость, перебирая ворох бумаг.—Простите, я... я не смею вас задержать. Вас, очевидно, супруг... э-э-э, простите, вам, конечно, известно, что мы, то есть, что я... Словом, вы все знаете. Вот, будьте добреньки, получите ордерочек в кассу на тысячу рублей.

Царапая бумагу и брызгая чернилами, Лелька расписалась в графе, на которую указывал толстый и дрожащий палец Быкова.

— Вы что же, гражданин, сидите здесь для того, чтобы на человеческих нервах играть?

Лелька отбросила ручку и в потном кулаке нервно скомкала кассовый ордер.

— За что вы получаете зарплату? За то, что уток рисуете, или за то, что уродуете людям жизни? Знаешь ли ты на что толкнула меня твоя... твоя...—Лелька с каждым словом возбуждалась все больше и больше,—ведь я в петлю готова была полезть. Ведь вы, именно вы заставили меня страдать. Если бы ни муж, я бы и сейчас жила с позорной кличкой. Я бы никогда не видала этого ордера.

Пытаясь что-то сказать, Быков, скрипя креслом, заерзал по его мягкому сиденью и как-то странно дернул левым плечом. А Лелька, испытав небрежность человека, ставшего причиной всех ее страданий, высказывала Быкову все свое возмущение.

— Что же вы теперь не грозите мне? Не призываете к порядку? Испугались! На цыпочках заходили! Эх, вы бухгалтер! Вам бы свиней пасти, а не в документах разбираться. Головотяп!—И хлопнув дверью так, что на чернильнице звякнула крышка, Лелька метнулась из комнаты.

На улице чувство прорвавшегося возмущенья не унималось долго. Но сознание своей правоты и восстановленной чести, сознание того, что в кармане, несмотря ни на что, лежит тысяча рублей, делали свое. Лелька постепенно успокоилась, а поравнявшись с витриной, в которой были выставлены виктролы и чулки,—даже что-то запела.

«Зайду куплю Антону носки. Сама, скажу, выбирала. Серые в зеленую полоску. Потом куплю торт и устрою маленький пир».

Грубый окрик пьяного Петьки, появившегося из-за угла, пресек лелькины размышления.

— А-а-а, гражданочка загагулина, наше вам нижайшее.

Лелька знала, что Петька уже снят с работы и что за растрату тысячи рублей с утаенного товара предан суду. Увидав Петьку пьяным, Лелька хотела свернуть в сторону.

— Не пущу... Ни-ни,—гнусавил Петька, преграждая Лельке путь.—Дай только полтинник. На четвертушку нехватает. Слышишь, Лелька, тебе говорю! Дай на водку. Жаждет душа, в кармане от всей тысячи шиш с хвостом остался. Чего выпучилась? Ты, может, думаешь, что я взаправду выиграл? Сбрехал! Пью на государственные, на товарчик так сказать. Да, да. Не веришь. Ей богу. Думал, что комар носа ни-ни, а меня, голубчика р-р-раз и ваших нет. Дай полтинник. Дашь—свечку поставлю, не дашь с душой вырву. Выпью, одуванчик моей жизни, за твое здоровье, а там хоть к чорту в глотку. Ну, дай ручку.—И дыша винным перегаром, потянулся к Лельке. Юрко шмыгнула она мимо широко расставленных рук Петьки и, не оглядываясь, пустилась по улице...

У самого дома Лелька встретила уходящую от Антона Лизу и, словно оглушенная, шатаясь, поднялась по лестнице. «Опять она. Значит, сомненья нет. Надо уходить».

Антона Лелька застала за игрой с Джеком. Дог в ответ на ласку тяжело прыгал, хлопал хвостом по полу и лизал Антону руки. Молча вытащила Лелька из-под кровати чемодан и поспешно стала сбрасывать в него свои вещи. «Собаке и то больше внимания. Уйду, буду пока спать в ларьке».—Горечь обиды снежным комом легла на сердце Лельки.

— А-а-а, это ты,—а я и не вижу. Ну, как наши дела?—спрашивая, Антон продолжал трепать мягкие уши Джека.

«Притворяется»—подумала Лелька, и решительно выложила перед Антоном полученные по ордеру деньги.

— Вернули. Возьми.

И, боясь расплакаться, замолчала.

— Значит, отдаешь долг. Ну, что ж, спасибо. Пошлем часть матери, а на остальные шубку тебе справим.

— Мне? Как ты сказал? Мне шубку?

— Да тебе. Что же в этом необычного?

— А как же она, Лиза твоя. Почему не ей.

— Лиза.—Антон повел плечами и удивленно вскинул брови.—Не понимаю причем тут Лиза и почему моя? Да, она моя, но только ученица по скрипке. Правда, Лиза эксцентрична, ну, а мне-то что до этого? Всякие бывают? А ты—жена, тебя я люблю, о тебе должен заботиться.

— Не надо. Не лги, Антон, не любишь. А регистрация наша—это одна насмешка. Ты даже не замечаешь, что я собираюсь уходить. Ты муж, а сам ни разу, ни разу... не поцеловал...

Антон выпрямился и с загоревшимися глазами перепрыгнул через Джека.

— Лелька, да ведь ты любишь меня!

И, давая волю нахлынувшей радости, вместе с Лелькой завертелся по комнате.

— Пусти, дурень, все равно не люблю. Дома ты не живешь, а на меня смотришь как на лишнюю пуговицу.

— Глупенькая, да ведь это же потому, что я очень занят был, потому, что мне казалось... потому, что я тебя очень люблю и был действительно дурень.

В окно постучала зеленая ветка сосны. Оба обернулись.

— Ишь, каналья, подсматривает,—смеялся Антон, целуя Лельку.—Ну и смотри, мне не стыдно. Я нашу жизнь вдвоем начинаю снова. Верно, Лейла.

Лелька не отвечала. Прижавшись к его плечу, она с улыбкой смотрела на уныло раскрытый чемодан, в котором среди вороха белья лежали серые носки в зеленую полоску.

Н. НОВГОРОДОВ

К НОВОЙ ЖИЗНИ

Заняв место в вагоне, паренек сбросил с плеч шинель, свернул ее втрое и положил на полку вместо матраца.

Достал из корзинки несколько книг и засунул их под воротник шинели, вместо подушки.

Когда он лег,—ноги оказались длинней полки, и пассажиры видели стоптанные подошвы и каблуки грубых солдатских ботинок.

Паренек заметил, что его соседями были: упитанный молодой блондин, в студенческой куртке, ярком галстуке и фуражке со значком: два крест-накрест молота, и девушка в шерстяном костюме английского покроя.

Студент смотрел, как устраивался паренек и сказал девушке:

— Говорил вам, Лида, занимайте эту полку. Не послушались—теперь кайтесь.

Паренек положил руку под голову на книги и еще до отхода поезда заснул.

Проснулся он под вечер. Вагоны толкало, дергало и бросало из стороны в сторону. Вытащив из корзинки полотенце и мыло, он соскочил с полки, громко стукнув ботинками о пол. Умывшись, он подошел к окну и опустил его.

Солнце быстро уходило за неровную, изломанную линию далекого хвойного леса, но высокие тополя у насыпи еще дрожали желтыми листьями, озаренные золотисто-багровым светом солнца. У корней деревьев была уже тень и прохлада, а верхушки их еще жили в тепле ускользающих солнечных лучей.

Лес уже сдавался в плен осени: березы и тополя роняли листья, трава сохла, морщилась и сгибалась к земле, точно ждала от нее еще тепла. Сумерки густели и темнели, а паренек все еще стоял у опущенного окна.

Вся прошлая его жизнь уходила назад, как эти перелески, поляны, столбы телеграфные...

Паровоз мчал его в новую жизнь и на душе было тревожно, грустно и радостно...

Когда он ложился спать, его соседями были уже другие—два крестьянина.

Утром, идя умываться, он увидел девушку и студента в соседнем купе, сидящими рядом.

Поезд осторожно проползает мосты, и из его окон видны скелеты свалившихся под откос вагонов, разрушенные окопы и спутанные ряды колючей проволоки. Кое-где видны группы рабочих на ремонте путей и мостов.

На станции продают пышные караваи хлеба.

Паренек приносит в жестяном чайнике кипяток. Втроем они пьют чай: крестьяне из помятых жестяных кружек, а он из деревянной чашки, выдолбленной из корня березы.

Пожилой крестьянин долго смотрит на него и спрашивает:

— Что, сынок, работу едешь искать?

— Нет,—учиться.

Молодой крестьянин улыбнулся.

— Чему ж тебе учиться,—сказал он,—когда у тебя вместо вещей каких в корзинке одни книги.

Пожилой вытер рукавом пот с лица.

— За ученье-то платить не будут,—строго сказал он,—а у тебя шапки и той нет. Работать надо.

— Я без шапки живу,—ответил паренек,—вещей мне не надо сейчас, а вот без книг—не могу жить.

Пожилой напился последним, осторожно смел в ладонь крошки хлеба, высыпал их в мешок.

Полежав молча на полке, он приподнялся на локте и спросил паренька:

— А скажи, сынок, что в газетах пропечатано про то—долго, нет продержится НЕПА?

Облокотившись на опущенное окно, паренек не заметил подошедших к нему студента и девушку. Он, задумавшись, смотрел как сумерки темнили лес, как над его верхушками плыло, стараясь не отстать от поезда, бледное, с пятнами, круглое лицо луны.

— Молодой человек,—сказал студент.—Мы видели, что у вас есть книги, не одолжите ли почитать?

— Все равно, какие есть, хоть пустяшные,—добавила девушка,—хотя бы детские.

Паренек снял руки с рамы окна и смущенно убрал их за спину,—он не хотел, чтобы они видели, что рубашка ему мала и короткие рукава открывали тонкие и загорелые предкистья рук.

— Возьмите,—сказал он кашлянув,—только вы их, наверное, читали. У меня с собой два автора: Джек Лондон и Кнут Гамсун.

Студент и девушка переглянулись и она спросила:

— Вы далеко едете?

— В Томск.

— Работать?—спросил студент.

— Учиться,—ответил паренек, достав из корзинки книги.— В политехникум имени Тимирязева.

***

На коленях у девушки лежала раскрытая книга, но она не читала, а слушала студента.

— Томск перестает быть специфически-студенческим центром,—говорит студент.—Раньше, до прошлого года хотя бы, вот такие, с позволения сказать, «студенты» в солдатских ботинках и без фуражек были редким явлением, а сейчас наоборот—едут и едут, и все такие. Кузнецы какие-то, а не студенты.

Девушка не ответила.

— Где же вы остановитесь в Томске,—продолжал студент,— если у вас в нем нет ни родных, ни знакомых?..

— В общежитии Губоно.

— Ну, знаете, это очень проблематично, будут там места или нет. А если и будут, то с клопами, если еще не хуже.

— Больше некуда,—девушка, подняв длинные ресницы, взглянула на студента.—Это временно. Дадут же комнату, если вызвали на работу в город.

— Для девушки, особенно такой как вы, Лида,—голос студента делался все мягче и вкрадчивее,—общежития эти—не подходящая обстановка. Я могу вам предложить, Лида, совершенно отдельную, уютную, удобную комнату в доме моих родителей.

— Нет, нет! Я и в общежитии как-нибудь...

— Зачем—«как-нибудь», когда можно в чистой комнате, среди культурных людей прожить неделю-другую.

Он придвинулся к девушке.

— Согласитесь...—произнес он тихо.—Я так хочу продолжить нашу встречу...

И тихонько сжал пальцы ее руки.

***

Последняя ночь. Завтра утром Томск. Новая жизнь. Паренек—снова у опущенного окна. Далеко мигают огни небольшого города. Над поездом—небо опрокинулось чашей с мигающими звездами по ее дну.

В тамбуре у двери две фигуры.

— Лида, ну что такое любовь? Это не только одни поцелуи и вздохи... Вам—двадцать лет, мы ровесники, Лида, и я не верю, чтоб вы не знали этого...

Девушка ниже его ростом, он стоит близко, и она чувствует горячее дыхание у своей шеи.

— Лида... Мы ровесники, Лида...—Мы оба интеллигентны и молоды... К чему предрассудки, Лида.

Девушка молчит.

— Вы не бойтесь, Лида, я человек здоровый и... предусмотрительный...

— Уйдите,—не громко сказала девушка.—Уйдите... Я не хочу этого... не надо... уйдите...

Он чувствует теплоту ее ноги и решает, что отступать уже не должен.

— Мы оба не имеем права уходить от счастья...

— Я не хочу...—Но он не слушает ее и говорит:

— Я не такой, как эти «студенты» в ужасных фронтовых ботинках и потных шинелях с чужих плеч... Это они не чистоплотны, они могут заразить... Они опасны для женщин... Я не такой...

— Валериан,—она с трудом назвала его по имени,—дайте мне дорогу, я замерзла...

— Лида!.. Здесь поезд стоит четверть часа.. Обгон...

Она отстраняет его руку. Он хочет загородить ей дорогу, остановить ее, он произносит ее имя:—Лида.—Но она уже затворяет за собой дверь в вагон, в купе и он остается один в темном тамбуре, по стенам которого ползут полосы света от станционных фонарей.

Закуривая папиросу, он замечает, что руки его дрожат.

— Мещанка...

— Томск первый,—кричит проводник. В вагоне шумно. Все толпятся и недавние, мирные соседи уже готовы рассориться.

Девушка не может затянуть ремни на свернутой постели и чуть не плачет, боясь не успеть вынести своих вещей, а их у нее много: постель, корзина, ящичек, узел, мешок...

Студент, стоя у окна, дочитывает книгу.

— Пособите мне, Валериан...

Молча бросив книгу, он резко отстранил рукой девушку и быстро затянул ремни.

— Спасибо...

Но он берет кожаный чемодан и уходит к выходу, ничего не ответив. Девушка садится на постель и плачет. К ней подходит носильщик.

— Вам, барышня, помочь?—Девушка кивнула головой.

— Полтора рубля за все монатки!—сказал носильщик. Они вышли из вагона. В вокзале их остановил усатый железнодорожник.

— В пассажирском вагоне везли свой багаж, гражданка?

— Да, а что?

— Пожалуйста, на весы.—И железнодорожник загородил дорогу носильщику.

— На весы,—сказал он и ему.

— Зачем?—спросила девушка.

— Больше двух пудов не разрешается на билет провозить.

— Брось, Иван Осипович, прискребаться к барышне,—заступился носильщик,—налетай на буржуев, а то прешь на кого бог не велел. У ней все счастье тут.

— Не твое дело.

— Пойми ты, Иван Осипович, что я ей уже подводу нанял, человек там ждать будет.

— Клади на весы!—грубо говорит носильщику железнодорожник.—Клади, не твоего ума дело.

— Четыре пуда двадцать фунтов. Пожалуйста, в контору.

Железнодорожник потрогал усы и пошел по коридору, а девушка шла за ним и упрашивала отпустить ее скорей.

Паренек вышел из вокзала и с высокого, каменного крыльца увидел степь с группками оголенных осенью берез.

— А где город?—спросил он у ближнего ломового возчика.

Возчик повернулся, сидя на телеге, и показал кнутовищем вдаль.

— А вон, церкви видишь?—Он снова ткнул кнутовищем в воздух.—Во-он! Видишь?..

Паренек посмотрел, куда показывал возчик и, вдруг, поставив корзину, быстро скрылся в дверях вокзала. Скоро он вернулся, держа в руках деревянную чашку.

— Чашку забыл?—спросил возчи́к.

— На полке оставил, как только никто не взял.

— Кому такое дерьмо нужно?—усмехнулся возчик.—Вот корзинку твою можно было срезать, пока ты за чашкой бегал!

— В ней только книги, мыло да полотенце. Кому это нужно?!

— Хотя бы мне!—Возчик озорно улыбнулся.—Книги прочитать можно, а потом на барахолку. Все деньги!

Паренек смотрел на грязную от дождей дорогу.

— Довезти, что-ли?—спросил возчик.

— Сам дойду. Мне на Воскресенскую гору надо. Где она тут такая есть?

— Ого-о!—протянул возчик.—Через весь город идти надо. Довезу до города за рубль, а там сухой ногой дойдешь.

Паренек колебался.

— Садись говорю! Что по такой грязище пойдешь. Ставь сюда корзинку, там одной гражданочки багаж устроим.

На крыльцо вышел носильщик.

— Лихачев,—сказал он возчику,—поезжай, брат, домой. Не подфартило тебе сегодня. Задержали у нее багаж.

Возчик соскочил с телеги и подошел к носильщику.

— Подвел ты меня, Федя, сегодня. А по этому случаю...— возчик запустил руку в карман шаровар, точно хотел вытащить оттуда что-то для удара, но вытащил махорку и измятую бумагу.

— А по этому случаю,—повторил он,—давай закурим!

— Не я тебя подвел, а этот гад—Сальников.

Носильщик прилепил к нижней губе клочок газеты для папироски.

— Привязался он к ней, что у нее багажа много и оштрафовал ее на десять рублей, а у нее всех денег—пятерка.

— Документы бы взяли и пусть она катится на все четыре стороны,—заклеивая самокрутку языком, сказал возчик.

— Документы-то отобрали за незаконный провоз багажа, а пока штраф не заплатит и багаж не выдадут. Вот и сидит там—воет.

Паренек соскочил с телеги и забежал на крыльцо.

— Товарищ, подожди минутку—я скоро вернусь.

— Шапку забыл?—усмехнулся возчик,—так ее давно сперли, наверняка, не найдешь!

— Нет, я не за шапкой. Я сейчас...

Возчик и носильщик покурили, поговорили, а паренек все еще не приходил.

— Пойду, посмотрю его,—сказал возчик,—а не найду, так и ждать не стану. Будет искать корзинку, так ты скажи ему, где я живу. Пусть придет. Все не на себе по такой грязи тащить.

Паренек стоял около девушки, а она, прислонившись к стене, плакала.

— Ну, скажите, почему не берете?—я не последние вам пятнадцать рублей отдаю, у меня еще целых три рубля остается!

Девушка отрицательно покачала головой. Паренек сказал подошедшему возчику:

— Не хочет у меня взаймы деньги взять, чтоб багаж выкупить и тебе уплатить.

Возчик показал на двери с бланкой: «Дежурный по вокзалу».

— Здесь были?

— Везде был!—Никак! Не хотят разговаривать.

— Бюрократы,—поморщился возчик.—А почему же вы, гражданочка, у парня денег не возьмете?

— Не возьму... Я не знаю, кто он такой,—тихо ответила девушка.

— Кто я?!—так бы вы давно и сказали, что боитесь взять деньги от незнакомого человека. Так я—студент. То есть еще не студент, но буду студентом.

Девушка отвела руку с платком от лица и посмотрела на него.

— Нет...—Уже не совсем твердо произнесла она,—не возьму. От вас не могу взять.

Паренек в смущении посмотрел на возчика.

— Да-а,—протянул тот, шлепая по голенищу сапога кнутом,—ты, братишка, не совсем тово... похож на студента... Конечно, барышне опасно взять у такого деньги... Они думают, что будет такой потом ходить за долгами, да и тово... потянуть коечто может.

Паренек вытащил из бокового кармана шинели записную книжку, перевязанную ремешком.

— Вы не смотрите, что у меня нет фуражки...—горячо начал он,—это просто так... привычка. Я всегда хожу так... А если ботинки или шинель, так это старшего брата, солдата, он с фронта в этом пришел. А мое, как раз поизносилось все...

Он протянул девушке документы.

— Посмотрите мои документы. Я—комсомолец... вот билет. Посмотрите.

— Боюсь...—сказала девушка. Паренек опустил руку с документами.

— Ты хоть скажи ей, чтоб взяла деньги,—обратился он к возчику.

— Возьмите, барышня, что боитесь его? Как будто парень простой, хороший. А что без фуражки, так это теперь много таких чудаков.

Через вокзал, из буфета, идет студент с пожилой дамой. За ними—кучер, в полной выездной форме, нес кожаный чемодан.

— Лера, ты не сердись на меня,—говорит упрашивающим тоном дама,—я не думала, что этот поезд может придти точно по расписанию.

— Я же вам сообщал «молнией», мама, что буду во время... А тут звони по телефону, когда чувствуешь себя совершенно разбитым от такого поезда,—ворчливо отвечал студент.

Возчик показал на него кнутовищем и сказал девушке:

— Не всем же, барышня, такими студентами быть. Для этого надо отца инженера иметь, свой дом и выезд.

Студент посмотрел на них. Его взгляд встретился со взглядом девушки и он отвернулся.

Девушка, проводив студента глазами, заплакала снова.

— Прошу вас, товарищ,—начал паренек, но возчик махнул рукою и он замолк.

— Подожди ты, пусть успокоится,—тихо сказал возчик.

Девушка взглянула на них, быстро повернулась к стене и всхлипывания начали трясти ее плечи.

— Товарищ, не плачьте, товарищ... возьмите деньги, возчик нас ждет.

— Мне ничего,—быстро сказал возчик,—мне не к спеху.

Паренек переступил с ноги на ногу и вздохнул.

— Не умею я женщин утешать,—сказал он и девушке, и возчику, и себе, махнув рукою.—Не умею... Хоть сам реви. Товарищ,—он слегка дотронулся до ее плеча и сразу убрал руку,— плечо, как от ожога, дернулось... Совершенно смутившись, паренек тоскливо сказал:

— Товарищ, у меня там корзинку попрут, а у него лошадь...

— Попереть, не попрут,—сказал возчик,—я в окно вижу, а вообще говоря,—до вечера мне тут нельзя быть—дома ждут.

Паренек вдруг ударил себя ладонью по лбу и так радостно воскликнул, что девушка повернулась от стены и посмотрела на него.

— Придумал! Честное слово, это вас устроит! Я вам дам пятнадцать рублей...

Девушка снова отвернулась к стене.

— Вы послушайте меня,—умоляющим тоном произнес паренек.—Ей-богу, согласитесь. Вы их возьмите, а мне ни адреса, ни фамилии, ни имени, ничего не скажете. И я вам тоже о себе ничего не скажу. Идет? Чего вам бояться теперь?

Девушка вытерла лицо платком и недоверчиво, как бы боясь, спросила:

— А кому же я деньги возвращу?

— А вот ему отдадите,—паренек показал на возчика.—Он скажет нам свой адрес и вы к нему занесете деньги, а я уж у него их получу. Согласны?

Девушка молчала, обдумывая, нет ли здесь ловушки, но лицо у паренька было такое добродушное, честное и радостное, что она невольно сказала:

— Ну, хорошо.

* * *

Неся вещи девушки на подводу, возчик сказал пареньку вполне серьезно:

— Плакали твои денежки. Ну, и чудак!

Паренек не ответил, тогда возчик добавил:

— Дура будет, если принесет.

— Принесет! — уверенно сказал паренек.—Куда ей мои деньги?

— Она принесет, так я скажу, что не получал! Не принесла, мол, да и все тут! И пропью их, ей-богу, пропью!

— Не пропьешь,—улыбнулся паренек, снимая с плеча на телегу сундучок девушки.—Сам увидишь, что не пропьешь.—Возчик громко расхохотался.

— Ну и чудак! Вот так чудак!

Въехали в город. У одного домика лошадь остановилась.

— Вот тут я и живу,—сказал возчик.—Сюда вы, барышня, принесете денежки, а он их придет и получит. Чудак парень!

Паренек подал тройку возчику.

— Два рубля сдачи.—Возчик оттолкнул его руку.

— Не надо. Великое дело—две версты довезти.

— Нет, возьми,—настаивал парень,—вез—значит получи.

— Бери, бери корзинку,—нарочито строго говорит возчик,— что я без твоего рубля пропаду, что ли?!

Паренек взял на плечо корзинку и протянул девушке руку.

— Желаю от всей души—хорошо работать и жить.

Девушка пожала его руку и отвернулась.

— Вам прилежно учиться...—И, взглянув на него глазами, полными слез, тихо добавила:—Спасибо... Никогда не забуду...

Парень торопливо пожал руку возчику.

Лошадь шла шагом и двое долго смотрели, как шел и удалялся с корзинкой на плече паренек.

Ехали молча. Возчик курил. Потом, шлепнув рукавицей о телегу, так сильно, что испугал и девушку и лошадь, он сказал:

— Ей-богу, такой чудак, такой...—и махнул рукой.

У огромного серого дома паренек остановился. «Дом науки»,—прочел он высеченные в камне слова над окнами третьего этажа. Вошел в ограду. По всему фасаду дома, в камне была высечена голова филина. Паренек отворил дверь.

Прошло два месяца. В угловой комнате «Дома науки»—студенческом общежитии—на топчанах лежат трое. В углу, на четвертом топчане, покрытом только газетой, сидит паренек. Около него лежит шинель, на полу стоят солдатские ботинки, а около них серый катанок.

Паренек только что пришел с улицы—у него красное от мороза лицо, левая нога без обуви, голая, а правая в черном катанке.

Паренек держит высоко над головой шапку и кричит:

— Чья шапка?—Книги в руках ребят опустились на грудь, а головы поднялись от топчанов.

— Кравченко, кажись,—сказал Новиков—староста и казначей комнаты.

С топчана, в другом углу комнаты, приподнимается на локте близорукий и курносый Кравченко. Он долго щурит глаза на шапку и спокойно говорит:

— А, ну, брось ее сюда, Дичков, так не вижу.

Шапка летит через всю комнату и Кравченко ловко ловит ее.

Он медленно вертит ее в руках, выворачивает подклад, даже, кажется, нюхает ее, так близко подносит он шапку к глазам и носу и бросает обратно.

— Лови, не моя.

— Ребята!—снова спросил Дичков, поймав шапку.—Кто знает—чья шапка?

— Брось ты ее, падлу, на батарею, пусть высохнет!—сердито говорит Новиков,—кому надо, тот и возьмет.

Кравченко берет книгу, ложится на спину и убеждающим тоном говорит:

— Не моя она. У меня, как и у тебя, Дичков, ничего нет, что бы одевалось на башку.

Дичков поднимает серый катанок:

— Чей катанок? Сознавайся!?

— Где взял?—спрашивает Корешков.

— На батарее?—Корешков идет к топчану Дичкова. На правой ноге у него серый, совершенно развалившийся катанок, на левой ноге—калоша.

— Конечно, мой,—таким тоном говорит Корешков, точно ему досмерти надоело узнавать каждый день свой катанок на ногах товарищей.

Дичков поднимает черный катанок.

— А это чей?

— Брось, Дичков, этот аукцион к лешему!—кричит Новиков.—Третий раз прочел главу о Сирии и ни холеры не понял изза твоих шапок. да катанок!

К Дичкову подходит Кравченко и внимательно, щурясь, осматривает катанок.

— Не валяй дурочку, Кравченко,—кричит Новиков,—у тебя никогда в жизни не было черных катанок.

— Почему думаешь, что не было черных,—обидчиво спросил Кравченко.

— Никаких-то не было! Вот почему.

— Так-то разве,—спокойно отвечает Кравченко, но, остановившись посредине комнаты, он язвит:

— Имеете на всю комнату один целый черный катанок, так и зазнались! Уже и посмотреть на него нельзя. Эх, вы! Заела вас мещанская идеология!

Ребята читают книги и Дичков тоже берет учебник и ложится на топчан, положив шинель под голову.

Корешков громко зевает, царапает спину и идет к Дичкову. Он садится к нему на топчан и тихо спрашивает:

— Опять искать того ходил?

— Ходил.

— Нашел?

— Чорта его найдешь! Исходил все улицы и переулки—нет! На вокзал ходил—нет!

— У возчиков надо спросить,—советует Корешков.

— «У возчиков спросить!» А я и масть лошади не помню!

— Ну, в адресный стол сходи.

— А я фамилию знаю? Нет. Ничего я не знаю!—желчно восклицает Дичков.

Корешков встает.

— А жаль мне тебя, идиота,—говорит он ласково и нараспев,—честное слово, жаль. И не так тебя, как нас жаль—сколько бы раз пообедали на эти пятнадцать рублей?! Пять раз, ей-богу, не меньше!—мечтает Кравченко.—А сообрази мы обедать через пять дней, вот тебе и месяц сытно прожили бы!

Новиков бросает книгу на тумбочку и все думают, что он их начнет ругать за разговоры, которые запрещены у них в эти часы, но Новиков укоризненно говорит Дичкову:

— Дурак ты, Саня,—деньги отдать и расписку не попросить и адреса ее не спросить.

Дичков садится и, размахивая руками, кричит Новикову:

— Понимаешь ты или нет, что иначе она у меня деньги не брала! Что я должен был делать?

— А зачем адрес возчика забыл?—набрасывается Корешков.—Жалеть тебя после этого не стоит.

Дичков молча зашнуровывает ботинки.

— А я, ребята,—мечтательно говорит Кравченко,—так же бы сделал, как и Дичков, ей-богу! Что такое пятнадцать рублей? Пять раз пообедать комнатой... Пустяки. Можно и так прожить. А ей целый воз багажу за них отдали. Это нам,—есть монатки—хорошо, а нет—еще лучше. А девчатам без монаток—крышка!

Дичков одевает шинель.

— В город,—говорит он с порога,—похожу по улицам, может, встречу где... Кипяток брать будете, так мне оставьте.

Но через минуту он врывается в комнату:

— Ура! Ура!—кричит он, подняв руки.—Вспомнил!—Лихачев! Лихачев его фамилия. Теперь найду. Ура! Обедаем!

И прежде чем Новиков успел его схватить за шинель, он убегает. Новиков ложится на топчан, берет книгу и безнадежным тоном говорит:

— Не отдаст ему этот Лихачев деньги...

— Как не отдаст?—кричит Кравченко. Да мы тогда к нему всей комнатой придем!

— А расписка его у нас есть?—холодно спрашивает Новиков и Кравченко уныло опускается на топчан.

Корешков, после общей паузы, нараспев говорит:

— Пообедали... Эх, как мне его жаль...

Ребята не слышали, как постучали в дверь—они спали. Стук повторился. Кравченко сел, протирая глаза. В комнату вошел мужчина в полушубке, шароварах и катанках.

— Здесь, товарищи, нет ли пареньва такого, студента, шапки у него нет еще?..

Кравченко встал около топчана.

— У меня нет шапки,—сказал он,—а что?

— Нет, не тебя мне надо. Тот другой... У него корзинка такая еще есть... плетеная.

Ребята проснулись и сели на топчанах.

— Тот паренек,—продолжал вошедший,—в ботинках солдатских ходит и в шине... Не кончив слова, он шагнул к тумбочке Дичкова, увидев на ней его деревянную чашку.

— Вот где я нашел его!—воскликнул он.—Это его чашка! Где он?

— Так тебе Дичкова надо? Александра?—спрашивает Кравченко.

— Не знаю я, как его звать. Только это его чашка. Где он, товарищи?

Корешков подскакивает к мужчине.

— Это ты его привез со станции?

— Я.

— Ты ему должен за учительницу пятнадцать рублей?

— Я.

— Гони их сюда!—Корешков выставил ладонь.

— Нет, товарищ, я только ему отдам деньги. У меня их и нет с собой. Я только отыскать его заехал.

* *

Дичков пришел вечером сумрачный. Ребята, по уговору, не взглянули на него. Дичков сбросил шинель и лег на топчан.

— Ну, как, получил адрес Лихачева?—спросил Новиков.

— «Получил!..»—громко усмехнувшись, ответил Дичков.— Их в Томске до сотни! Выписал я с десятка полтора разных Лихачевых, что в том районе живут и начал ходить из двора во двор...

— Нашел?—спросил Корешков.

— «Найдешь»,—еще горше усмехнулся Дичков.—Собак злых в этом Томске, как в Австралии!.. В каждом дворе.

Кравченко подошел к Дичкову и бросил ему на грудь клочок бумажки.

— На, бери адрес. Он сам тебя ждал, да ты бегаешь, чорт тебя знает где!

— Без толку только обувь треплешь!—участливо сказал Корешков.—Жаль мне твои ноги, конечно, жаль, приди ты раньше, мы уже бы пообедали.

Дичков схватил Корешкова и положил его на Новикова. И, уже выбегая из комнаты, слышал, как кто-то кричал:

— Сирию помяли, черти этакие!!

Лихачев вышел заспанный, протирая кулаком глаза.

— Нашел?—протянув руку Дичкову, сказал он.

— Я уже думал, что ни ты меня, ни я тебя больше не найду.—Он пододвинул стул.—Садись. А деньги-то она через десять дней принесла.—Лихачев улыбнулся.—Отдавать тебе или не отдавать? Могу и не отдать, а?

— Отдашь,—убежденно сказал Дичков.

— Знаешь!—Лихачев шлепнул ладонью по колену Дичкову. Сказать по правде—были случаи, надувал я дураков... А тебя не могу. Хоть што со мной делай—не могу! Маня,—крикнул он жене в другую комнату,—принеси деньги да самовар наставь—парень есть хочет. В комоде они тройками лежат.

Отдавая Дичкову деньги, Лихачев сказал:

— В них записка тебе есть, от барышни той...

Дичков помялся и Лихачев понял это по-своему.

— Пересчитай, что стесняешься-то?

— Не то, совсем не то!—воскликнул Дичков.—А у меня, понимаешь, сдачи тебе нет. Помнишь—довез ты меня.

Лихачев схватил Дичкова за плечи и усадил на стул.

— Да ты за кого меня считаешь, а? Да кто ж я тогда буду, если с тебя, чудака такого, рубль возьму. Из гадов гад. Сиди—чай пить будем.

— Нет, Кузьма Михайлович, не могу остаться.—И Дичков поднялся со стула.—Поверь—не могу—там ребята голодные меня с деньгами ждут.

— Опять, значит, не себе деньги берешь?

Лихачев схватил руки Дичкова и тряс их.

— Ну и чудак, ну и чудак!!

* * *

Ребята ждали Дичкова, но его все не было. Хотелось есть и прочитанное не запоминалось.

— Усадили его там, чаем с помпушками поят!—Глотая слюну, проговорил Корешков.—А мы тут... Эх, жаль нас, до самого самого синего моря, жаль!!

— Пусть пьет, лишь бы деньги выпросил,—закрывая книгу, сказал Новиков.

Вошел Дичков. Ребята смотрели на него, но он медленно снимал шинель, не торопясь вытащил деньги из кармана брюк и протянул их Новикову.

— Заприходуй—от Лиды, в возврат долга.

Кравченко подскочил к Дичкову, сгреб его, поцеловал, встал на руки и прошелся колесом вдоль стен.

Корешков плашмя упал на топчан.

— Как мне жаль, ребята, что Дичков тогда мало денег учителке дал. Не мог все отдать, скряга чертовский, сейчас бы восемнадцать рублей имели!

Дичков отошел к окну и развернул записку.

«Спасибо, неизвестный, безымянный друг.—Читал он.—Как хороша жизнь уже тем, что в ней есть такие,—как вы. Лида».

Адреса не было.

В. КОНЕВ

ПОВЕСТЬ О ДРУЖБЕ

Посвящается молодежи

I

Жили три товарища на свете
В городе каком—и не упомню;
Впрочем, это, кажется, неважно—
Мало ли в Союзе городов.
В каждом есть немало молодежи,
В каждом есть товарищей немало,
Пламенная дружба повсеместна
В нашей удивительной стране.
Первый из друзей был украинец
Стройный, белокурый, чернобровый
С голубыми ясными глазами
И всегда восторженной улыбкой.
Далеко,
На киевщине теплой,
У него жила старушка мама
В хате под густыми тополями,
В горенке, уставленной цветами.
Он любил ее, как любят солнце,
Часто слал ей письма и посылки,
И она нередко присылала,
В ящиках объемистых сосновых,
Яблоки из маленького сада.
Был второй широкоплеч и кряжист
Хмурый сибиряк из-за Байкала,
Под ветрами Севера рожденный
В захолустной серой деревушке.
В ночь,
Когда по небу крались тучи,
В ночь, когда свистел над миром ветер
И кусты листвою лопотали,
Он ушел дорогою таежной

К станции, заброшенной меж сопок.
Третий—родины своей не помнил,
Потому что был он беспризорник
И скитался по всему Союзу
В ящиках собачьих очень долго.
Он был тонок, как таловый прутик,
Слаб и гибок,
Но его любили
За его уступчивость и нежность
И за песни, что сердца тревожат.
Жили трое на одной квартире
И бывало часто вечерами
Собирались за стаканом чаю
Для приятной дружеской беседы.
Много между ними было споров,
Даже ссоры изредка случались,
Но всегда они кончались песней,
Что, смеясь, затягивал Алеша
Голосом звенящим и веселым.

II

Это было в пламенные годы,
В годы нашей первой пятилетки,
В дни,
Когда страна вскипела всюду
Разом муравейниками строек.
Много было трудностей, лишений,
Нехватало сахару и чаю,
И утрами около распредов,
В очередь выстраивались люди...
В эти годы брали в плен мы реки,
Новые закладывали шахты,
И дымили по всему Союзу,
Трубы новых фабрик и заводов.
Как на фронте, жили мы в те годы,
Каждый день победами встречая.
По стране цвела большая радость—
Радость всенародного подъема.
Выходили утром из бараков
И скорей бежали на работу,
На завод, который был нам сыном
И отцом в одно и то же время.

III

Когда май цветами и листвою
Разукрасил горы и долины,
И пошли по голубому небу

Облаков серебряных отары,
Что-то вдруг случилось с первым другом—
Начал он товарищей чуждаться,
Вечерами возвращаться поздно
И чему-то часто улыбаться
Тихой и мечтательной улыбкой.
Двое остальных терпели молча,
Но терпенье скоро истощилось.
И тогда-то
Смуглый забайкалец,
Губы сжав,
Серьезно сдвинув брови,
Подошел вплотную к Александру
И сказал с притворным хладнокровьем·
— Ты достоин, Саша, удивленья.
Или дружба наша остывает,
Или не товарищи мы больше,
Почему тебя не видно с нами,
Где ты так подолгу пропадаешь?
— Ах, друзья,
У нас в токарном цехе
Есть станок 416—
Это славный импортный станочек,
Прошлогодней майской установки,
Я его детально изучаю,
Чтобы сдать техминимум успешно.
Так сказал голубоглазый Шура
И тихонько засвистел и вышел.
Алексей, как только дверь закрылась,
Тоже свистнул
И сказал лукаво:
— Есть станок 416—
Это славный импортный станочек,
Но...
На нем работает девчонка
Далеко неимпортного склада.
Вот в чем дело, дорогой мой Гриша,
Соль вся в ней...
Понимать, брат, надо.
— Понимать?!
Но он забыл о дружбе,
Он нам правды говорить не хочет,
Разве ложь возможна между нами!
Или он не помнит, позабыл он:
Как мы вместе мерзли на монтаже,
Как до крови обдирали пальцы
И глотали слезы от досады.
Променять года работы общей,

На кудряшки русые,
На юбку!
Нет, прости...
Я понимать не буду,
Не хочу я понимать такое...
Тут оратор сжал стакан рукою,
Так, что хрустнул тот,
И чай горячий
Расплескался,
Обжигая руку.
— Слушай, Гришка,
Что это ты, право,
Расходился,
Как карась в корчаге,
Не сидеть же Александру дома,
На тебя и на меня любуясь.
Этак род людской переведется,
Если слушаться тебя все будут.
Ты, я вижу, дома засиделся,
Ты бы шел проветрился немножко,
Но Григорий слов его не слушал,
Он, сопя, залез под одеяло,
С головой сердито завернулся
И подушку сверху нахлобучил.
Скоро оба сном они забылись,
А луна меж тем светила в окна,
Облака по небу пробегали
И река за городом блестела
Лентою зеркальной меж кустами.
Берегом извилистым и влажным,
Травами, покрытыми росою,
Шли, обнявшись, Александр с Татьяной.
Шли куда?
Куда, не все равно ли!
Друг ко другу нежно прислонившись,
И тихонько песню напевая:

Месяц плавает в зените,
Месяц ясный молодой;
Колокольчики, звените
Над лугами, над водой.
Вам звенеть не так уж долго
На упругих стебельках,
Время льется, будто Волга,
Будто Волга в берегах.
Пролетят недели мая
Над рекой, над лебедой,
Вы умрете, засыхая,

Наклоняясь над водой.
Так пока для вас в зените
Месяц ходит молодой,
Колокольчики, звените
Над лугами, над водой.

IV

Новый день рождается над миром,
Солнца луч скользнул по гребню крыши,
В щелку ставня заглянул случайно
И, упав на длинные ресницы,
Разбудил, бродяга, Алексея.
Встал Алеша, распахнул окошко.
Свежесть утра бодростью и силой
В тело полусонное вливалась.
Столько было солнца,
Столько света,
Что хотелось петь,
Хотелось прыгать,
А друзья, меж тем, спокойно спали—
Это было просто некрасиво.
Тихо к репродуктору подкравшись,
Щелкнул выключателем Алеша,
Ливень звуков искрящихся хлынул
В комнату,
Ее переполняя.
Лился он и бился возле окон,
Сон гоня безжалостно и властно.
— Эх-хе-хе...
Чего тебя подняло
Спозаранку.
Спал бы ты, Алешка,
Не мешал бы и другим проспаться.
Этот типус на заре приплелся...
Да ведь он не спит!
Послушай, Шурка,
Ты, должно быть, метишь в инженеры,
С этаким техминимумом можно
Все науки превзойти в полгода...
Вот что, други,
День сейчас отличный,
Да к тому ж мы нынче отдыхаем —
Гай-да в лес,
К реке,
На пляж,
Под солнце...
К чорту ссоры!
К чорту недомолвки!..

Говори-ка, с кем вчера шатался?
Мы тебя судить сегодня будем.
— Правильно!
Поддерживаю, браво!
Слово прокурору...
Подсудимый!
Именем закона нашей дружбы
Обвиняю вас в безмерно тяжком
В недопустимом преступлении.
Буду краток.
Явные улики
Говорят о том,
Что Вы, Беленко,
С некоторых пор
В отлучках частых,
Беспричинных и необъяснимых,
Стали забывать о ваших клятвах,
Данных Вами нам неоднократно.
Может Вы забыли содержанье
Этих клятв?
Извольте—я напомню.
Мы клялись
В догроба верной дружбе,
Мы клялись в товариществе вечном,
Обещаясь ставить интересы
Нашего товарищества выше
Всяких прочих личных интересов.
Помните февраль?
Свистела вьюга,
Снег колючий в воздухе носился.
Нас троих
На балках перекрытья,
Высоко над городом туманным,
Жег мороз.
Отказывались руки,
А работа не ждала—мы дали
Слово партии и комсомолу,
Что работу к сроку мы закончим.
Мы сдержали слово комсомольцев—
В мощном костяке теплоцентрали
Крепкие,
Надежные заклепки.
Пригнанные нашими руками.
Скреплены ими не только балки,
Ими скреплена и наша дружба.
Чем же объяснить, товарищ Саша,
Твой откол от нас,
Твои секреты

И (прости, скажу тебе я прямо)
Твои обманы? Скажи, мы ждем ответа.
— Алексей, давай
Оставим шутки.
Театральность здесь совсем не к месту
И к таким серьезным разговорам
Приправлять актерство некрасиво.
Мне давно поговорить хотелось
С вами
Вот об этом самом деле.
Виноват я, правда, перед вами.
Я скрывал, что я люблю Татьяну.
Почему?..
Вопрос-то больно сложный...
Как начать?..
Э, чорт!..
Ты помнишь, Гриша,
Наши разговоры вечерами?
О любви они велись нередко,
Где и ты, и я и даже этот
Песенник и лирик бестолковый
Изощрялись в том, кто больше грязи
Выльет в россказнях на нашу тему.
Ну, так вот,
Когда я встретил Таню
И когда друг друга полюбили
То...
Нет... Тут не передашь словами,
Лучше я вам вот что прочитаю.
Не поэт я
И пишу впервые
Извините если... недостатки...

Как ни говори,
Но к милым встречам,
К ласкам нежным,
Ласкам до зари
Нас располагает летний вечер,
Как ни говори.
Хорошо
В синеющем просторе,
Когда воздух нежен, словно шелк,
На лесном, на мшистом косогоре
Помечтать о счастьи
Хорошо.
И, когда в глаза мои ты взглянешь,
Скажешь—милый я с тобой везде.
Больно мне, что столько всякой дряни

О любви я слышал от людей.
Больно
За слюнявенькую гадость,
Что поют еще в моем краю.
Больно мне,
Но в то же время радость,
Радость наполняет грудь мою.
Рад я
И глаза струятся ясью
Потому, мой друг,
Что в наши дни
Не зальешь похабщиной и грязью
Нежности пылающей огни.
Рад я,
Что широкою дорогой
Мы идем
В сияньи вешних дней...
Отойди же грусть!
А боль
Не трогай
В этот вечер счастья двух людей.

Вам понятно?
Слушайте, ребята,
Знаю я, что мы не так уж плохи
И наедине с собою каждый
Думает совсем, совсем другое.
Много нежности в нас,
Много веры
В человека,
В девушек любимых.
Только почему-то мы считаем
Эти чувства для других смешными
И смеемся сами, если слышим
От других о тех же самых чувствах.
Это в нас от прошлого, ребята,
Гадкие, позорные привычки;
Но все меньше их,
Они тускнеют
Под лучами солнца новой жизни.
— Хватит, Шура!
Ясно и понятно!
Ставим крест на всех раздорах наших,
Передай от нас своей любимой
Пару самых крепких поцелуев...
А теперь к реке...
Закрыть парламент!

V

И пошли они к реке зеленой
Золотой песчаною дорогой,
Улыбаясь ласковому утру.
Запевает песню Алексей...

И так уже счастья немало
Испытано сердцем моим;
В веселье, в труде запевало
Я всюду и всеми любим.
У сердца как будто бы крылья,
У сердца от радости прыть.
Не чаял, не думал, что быль я
Такую сумею добыть.
Но родина в бурях кипела,
Учила других и меня;
Я рос у великого дела
Счастливее день ото дня.
Победы давались нам с бою,
Мы брали их дружной борьбой,
И мысль, что мы новое строим,
Вселяла в нас гордость собой.
Прославят истории главы
Страны моей мощь и красу
И пусть миллионную славы
Частичку я все же несу.
Так лейся же радость сильнее,
Грядущее блещет, маня,
Лазурное небо синеет
И девушка любит меня.

У ОКНА

Как мне нравится одно
В скромном домике окно.
Белым снегом все оно
По ночам заметено.

Там в окне за слоем льда
Вечерами брезжит свет,
И мелькает иногда
Дорогой мне силуэт...

Если б знала, что стою
Вечерами у окна,
Если б знала, как люблю,
Как душа тобой полна.

Ты бы вышла на крыльцо
На плечах—платок с каймой,
Посмотрела мне в лицо
И сказала—«милый мой».

Этих слов довольно мне,
Я б тогда пошел домой,
Всю дорогу, как во сне,
Повторяя—«милый мой».

НОЧНОЙ ЭКСПРЕСС

В час, когда во мгле потонут горы,
И заблещет звездами зенит,
По долине нашей поезд скорый,
Окнами сверкая, прогремит.

Он умчится в перегон соседний,
Запыхавшись, пролетит подъем,
На прощание вагон последний
Мне махнет сигнальным фонарем.

Вот и тихо, смолкли отголоски
Грохота... растаяли вдали,
Снова рельс зеркальные полоски
Под луной ручьями потекли.

И хотя экспресс за перегоном,
Шум его колес глотает даль,
Мнится мне: звенит, чуть слышным звоном.
Рельс разволновавшаяся сталь.

Тихо, тихо сталь поет про были
Беспредельной родины моей.
Горы сдвинулись послушать, и застыли
В чуткой дреме листья тополей.

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

Не таи, не скрывай от меня ты,
Голубого сияния глаз—
Свет зари за горой синеватый
Нас разлучит с тобой через час.

Я уйду,
И в груди унесу я
Твой немного притворный испуг,
Пламень вспыхнувшего поцелуя
И калитки захлопнутой стук.

Эту ласку, которой отмечен,
Этот вечер от счастья хмельной
Сохраню я до будущей встречи,
До второго свиданья с тобой.

И сильнее всего сохраню я
Твой, за позднее время, испуг,
Мимолетный огонь поцелуя
И калитки захлопнутой стук.

Не таи, не скрывай от меня ты,
Голубого огня твоих глаз—
Свет зари за горой синеватый
Нас разлучит с тобой через час.

Н. УСТИНОВИЧ

ДЕФИЦИТНАЯ КОБЫЛА

В колхозе «Заря социализма» готовились к карнавалу под названием «От сохи к комбайну». Молодежь только и говорила о костюмах и масках. От них не отставали и старики. Карнавал должен был пройти с небывалым шумом и весельем.

Для карнавала нужна была соха и комиссия по подготовке долго разыскивала ее по всему селу. Но ни у кого сохи не было.

— Здрасте—пожалте!—с веселым смехом разводили руками колхозники, когда члены комиссии спрашивали, нет ли у них сохи.—Со-хи... Нету, милые, нету. Поломали, да пожгли давно.

Пришлось обратиться к плотнику, деду Захару.

— Ладно, смастерю, чего уж там,—успокоил комиссию дед Захар.—По старой памяти как-нибудь. Мно-ого я этих самых сох на своем веку переделал. Ох, много...

— Теперь клячу какую-нибудь для запряжки в соху найти надо,—сказал председатель комиссии. И, обратившись к конюху первой бригады, спросил:

— У тебя, Кирилыч, есть там какая-нибудь завалящая лошаденка?

Тот покрутил головой и, обиженно отвернувшись, потеребив бороденку, ответил:

— За-ва-ля-щая... Конюх я, али, скажем, чучело? Чтоб у меня в бригаде, да были худые кони? Ишь, чего захотели!.. А в ударниках, скажем, за что я уже третий год хожу?

Кирилыч сердито отошел в сторону и, кивнув на конюха второй бригады, посоветовал:

— Поспросите-ка у Степана. Авось, у него кляча отыщется.

— Ну-ну, не подклинивай!..—вспылил вдруг Степан.—Тоже дело знаем не хуже вас! Не зря премирован патефоном. Вон у меня самый худой!—показал он пальцем на жеребца, который, стоя у коновязи, нетерпеливо перебирал ногами. Бока его лоснились на солнце.—А отчего худой и сам не знаю. Уж я его и овсом, я его и травкой, и к ветеринару водил, а он все в одной мере...

— Ну, тоже нашел худого!—махнул рукой председатель комиссии. С жиру бесится, а ты—худой...

— Оно, конечно, не то, чтоб худой, а так, вроде как суховат...—оправдывался Степан, стараясь скрыть улыбку.

— Да неужели во всей бригаде нет захудалого конишки?—допытывался председатель комиссии.

— Нет...—со вздохом ответил Степан, словно очень жалел об этом.—Нету...

Члены комиссии задумались.

— А что если до деда Савелия дойти?—несмело предложил кто-то.

Все переглянулись.

— А ведь и верно,—хлопнул председатель рукой по колену.—Такой кобыленки, как его рыжуха, у нас и днем с огнем не найдешь. Пойдем к нему!

И комиссия вышла с колхозного двора. Сзади толпой побежали ребятишки.

Дед Савелий жил одиноко в кривой хатенке. Он делал метлы, топорища и чуть не каждый день возил их на своей рыжей, неимоверно худой кобыленке на базар. В колхоз он один из всего села упорно не хотел итти и когда ему об этом говорили, то неопределенно отвечал: «поживем—увидим»...

Заметив, что во двор вошли люди, дед Савелий бросил недовязанную метлу и беспокойно задвигался на месте.

— Кобыла у тебя есть, дед?—начал председатель комиссии.—Рыжуха...

— Ну, есть!.. Есть!..—закричал визгливо дед, подскакивая.—А вам-то какое дело... Моя кобыла!.. А раз моя, то вам и дела тут нет!

И он для чего-то замахал неловко костлявыми кулаками в воздухе.

— Да перестань ты,—перебил его председатель.—Дело тут такое, что кобыла нам твоя требуется...

— Ишь ты! Требуется! А мне какое дело!..—не унимался дед.

— А такое,—продолжал терпеливо председатель,—что мы тебе заплатим хорошо. Понимаешь—карнавал будет. Представление, значит. Самого худого коня часа на три-четыре надо, по улице в сохе провести. Вот и все.

Дед вдруг заинтересовался, притих. А потом неожиданно выпалил:

— Десять рублей.

— Ладно,—кивнули головой колхозники.—Заплатим.

Этого дед никак не ожидал. Мелькнула вдруг мысль, что продешевил. И он постарался поправиться.

— Это за кобылу десять. А еще на корм пять рублей...

— Ну, это ты, дед, зря!.. Кобыла и того не стоит.

— Как так зря!—загорячился Савелий.—Пойдем...—И он почти потащил колхозников в хлев.

Там, в темном углу, над охапкой ржаной соломы, уныло стояла кобыла неопределенного цвета. Клочья шерсти висели на впалых боках. Под кожей резко выпирали ребра. В хвосте и гриве, зацепившись, болтались какие-то шишки и солома.

— Ну!..—торжественно кричал дед.—Вам худую кобылу надо? Вот и худая. Подите-ка, поищите еще где-нибудь такую!.. Хе-хе-хе!.. Прямо, можно сказать, дефицитная кобыла... А вы пятнадцать рублей жалеете...

— Ну, хорошо,—согласился, наконец, председатель комиссии.—Пойдем в контору, получишь деньги.

Дед, очень довольный своей сделкой, пошел за колхозниками.

Н. УСТИНОВИЧ

ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

1

Вот уже семь лет, как Семен ушел от людей. В ухожье таежное заехал раз, да там и остался. Сына своего единственного Ваську взял к себе. Было парню двадцать два года, но не вышел он еще из-под отцовской воли.

— Так-то спокойнее,—решил старик.—Ни я людям мешать не буду, ни люди мне. А то уж больно прыткий народ ноне пошел.

Изредка выходил из тайги за продуктом или припасом, мимо ушей пропускал какие-то новые, непонятные слова, делал торопливо свое дело и—опять в тайгу. Занимался больше охотой да копался в разрезах—мыл золото.

А в последнее время зачастил старик в деревню. Посмотрит этак пристально на Ваську и скажет:

— Ну, я тово... денька на три в деревню.

И уйдет. А зачем ходит—Васька не спрашивал. Потому что не любил этого старик.

А раз пришел он из деревни, с размаху поставил на стол поллитровку спирту и к Ваське:

— Женить я тебя надумал. Чего тебе так-то трепаться. Опять же и хозяйку в хату надо. А девку я тут присмотрел. Федьки Лукина старшая дочка. Ничего, самостоятельная будет баба. В воскресенье сватать пойдем.

Васька оторопело слушал. Какая-то волна вдруг захлестнула ему грудь, перехватила горло. Стараясь быть спокойным, заговорил басом:

— Дак што-ж... конешно... я без возражениев...

Но голос с баса вдруг сорвался на петушиный и тогда, схватив ружье, Васька зашагал в сопки. Вышел на обрыв и, стараясь покрыть рев водопада, выплеснул свое неизвестное до этого чувство в сильном, как рев изюбря, крике:

— Э-эх!!

Вскинул ружье и выстрелил в далеко-далеко кружившегося темной точкой коршуна. А старик с усмешкой смотрел из кривого оконца.

2

Отгуляли свадьбу. Семен, с опухшими глазами, лежал недвижимо на полатях. Дышал винным перегаром и пил огуречный рассол.

Настя была девка работящая. После свадьбы сразу же одела домотканную юбку, поставила ботинки в ящик и начала наводить в избе порядок. Чистила, мыла, скоблила.

— Ниче баба, ниче...—думал старик.

— Ух и девка ж!.. Ну и девка!..—думал Васька. Хотелось обнять ее, шутить, смеяться. Но, взглянув на полати, где угрюмо сопел отец, Васька выходил на улицу.

— Ты че стоишь, ровно аршин проглотил!—смеясь, кричала на него Настя.—Иди-ка за водой!

Васька покорно шел с коромыслом к реке.

Дня через три, когда все было вычищено, вымыто и прибрано к месту, приколотила Настя в переднем углу, чуть не рядом с образом Миколы-чудотворца, портрет какого-то человека.

— Самый главный большевик,—сказала она Ваське.

Перед вечером пришел из тайги старик. Поставил в угол ружье, не спеша снял шапку и, по обычаю, занес руку для того, чтобы перекреститься. Но рука на полпути остановилась и указательный палец вытянулся вперед.

— Эт-та... че!?.

— Портрет,—ответила Настя.

— Батька тебя не научил, так я тебя научу! Патрет! Я вот прикажу счас Ваське отстегать тебя как следоват мокрыми вожжами!

Подошел к стене и сердито рванул к себе бумагу.

— Ну, ты, не шибко-то тово...—заикнулся было Васька, но отец зверем кинулся на него.

— Ты!.. Ты!!.

Васька хлопнул дверью и зашагал к реке. Долго стоял над водопадом, заглушая в себе нехорошее чувство.

3

С этого времени пошли нелады у отца с сыном. Стал придираться старик: что Васька не сделает—все неладно. Иногда Васька пытался сказать слово в свое оправдание, да куда там: подымалась такая буря... Приходилось терпеть.

Лето шло к концу. Пропадал гнус, желтел осинник.

— Шишковать пора,—сказал старик.—Шишки теперь сами осыпаются.

Собрались и отправились к далекой кедровой падушке. Шли молча, по протоптанной козами тропке, часто разыскивая старые заломы и затески.

На одном повороте старик вдруг остановился и стал принюхиваться к ветру:

— Че за оказия така: дым!..

— Стучат! Стучат,—услышал и Васька.—Рубят топором!

Прошли дальше и вдруг увидели впереди человека. Старик хотел было незаметно свернуть с тропинки, но человек их увидел и издали закричал:

— А, люди! А я-то уж думал, что в тайге этой одни звери. Издалека бредете?

Семен неопределенно гмыкал, сморкался, завел для чего-то речь о погоде. А Васька рассматривал встречного. Был тот высок, костляв. Молодое лицо обросло бородой и было изъедено гнусом. Крепкие приискательские сапоги были изрезаны камнями: человек видно давно скитался по тайге.

— Ну, зайдем в наш шалаш,—предложил незнакомец, перебрасывая винтовку на другое плечо.—Потолкуем.

Отец и сын поплелись сзади с видом пленников, каждую минуту готовых пуститься наутек.

4

Возле берестяного шалаша горел костер и были разбросаны консервные банки. Три человека свинчивали штанги, двое заворачивали в бумагу образцы породы и, смочив бумагу языком, выводили буквы и цифры.

— Мы—геологоразведочная партия,—говорил высокий.

— Это што ж такое?..—осторожно осведомился Семен.

— Ищем золото. Его здесь много, только добыча все время велась не хозяйским, хищническим путем. А нас вот послали сюда для того, чтобы мы разведали, как и где можно здесь строиться, какими машинами можно добывать золото.

— Та-ак, разведчики значит,—протянул Семен.—Ну что ж, дай вам бог удачи, дело оно хорошее.

Скорчил старик умильную рожу, а у самого на сердце тревога: почувствовал, что приходит конец его спокойной жизни. Придут люди, привезут машины, закоптят тайгу керосином, вырубят...

А высокий говорил Ваське:

— Люди нам сейчас нужны, рабочие. Зима надвигается, а у нас еще и половины работы не сделано. Пока тепло, надо спешить. А людей—где их в тайге возьмешь?

Попыхтел трубкой и неожиданно выпалил:

— Оставайся-ка ты, парень, у нас. Дяденька ты здоровый, чорта своротишь. Да и ты, старик, тоже. Чего там шишки собирать... Тут и заработаете хорошо и большую помощь государству сделаете.

Васька смутился. Как это так: с таким большим делом и вдруг прямо к нему, Ваське, помимо отца. Как будто он может делать, что захочет.

— Дак я чего... я... как отец... Да я к тому же женатый..

— Вот и дело!—рассмеялся высокий.—Значит, вдвоем с женой работать будете!

— Не, нам такое дело несподручно,—поднялся Семен.— Охотники мы, не наше это дело с машинами. Бывайте здоровы, мы ужо пойдем своей дорогой.

— Постой, старик, погоди!—остановил его тот, который завертывал в бумагу пробы.—Ты хоть про дорогу-то нам расскажи, как тут ближе да лучше от Каменной машины сюда привезти.

— Дак эвот она, самая близкая тропа,—указывал Семен.— Через елань, между двух сопок...

— Там же, бать, зыбун, машины в два счета увязнут,—перебил Васька.—Надо через Лысую сопку, да поперек елани, а потом...

Но взглянул на отца и осекся: по-волчьи горели у того глаза и дрожал сжатый кулак.

— Ну что ж, можно и через сопку,—проговорил старик внешне спокойно.—Прощевайте.

5

Шли молча. Обошли одну сопку, спустились к ручью и тут отец вдруг обернулся и с размаху ударил сына по лицу.

— Д-доказывать!.. Отца перебивать!.. Дороги рассказывать!..—хрипел старик.—Я из тебя, подлец, сейчас душу выколочу!

Еловые верхушки закачались у Васьки перед глазами и над ними снова поднялся отцов кулак. Тогда Васька сдернул с плеча ружье и прикладом ударил во что-то мягкое, податливое...

6

...Зима проходила медленно. Был уже март, а еще по утрам гулко трещал листвяжник от сорокаградусного мороза.

В избушке у Семена почти всю зиму полумрак: крошечное оконце покрылось толстым слоем льда и только чуть-чуть просвечивало. И почти всю зиму провалялся Семен на печи без дела. С той поры, как ушел Васька с женой к разведчикам, никакое дело не стало клеиться у старика. Да и уйти-то было бы от чего. Ну, поругались, ну, малость передрались, так подумаешь, эка важность. Покойный отец еще не так бил его, Семена. И ничего, Семен и не думал от батьки уходить. А все это она, вертихвостка проклятая. Она это подговорила Ваську уйти к разведчикам.

Днем, когда пригревало солнце, брал Семен ружье и шел в тайгу. Смотрел, как оседал подтаявший наст, грузно пролетали вороны и выколачивал барабанную трель дятел.

Шептал старик:

— Ничего, весной вернется. Тайга она, милая, притянет.

...А дни становились все длиннее, все жарче пригревало солнце. Уже текли ручьи и ломали лед реки.

Однажды сильный удар встряхнул, взбудоражил тайгу. С карканьем взметнулись вверх вороны, шарахнулся в кустах заяц.

— Пришли, рвут землю динамитом,—догадался Семен.—Теперь не сегодня, так завтра явится Васька с повинной. Придет.

Но сын не пришел ни в тот день, ни на другой, ни на третий. Тогда старик собрался и пошел туда, откуда теперь, не смолкая, неслись выстрелы, взрывы и стук топоров.

7

Семен не узнал старого места. В пади были срублены и выкорчеваны деревья, строились бараки, белели палатки. Везде была кипучая, напряженная работа.

— Как бы мне тут Василия Кузнецова увидеть?—обратился старик к плотникам.

— Кузнецова? Это того, который забойщиком на проходке шахты? Вон за той палаткой.

За палаткой несколько бревен стояли в виде остова шатра, переплетенные в разных направлениях тросами и перекладинами. Под ними две деревянных бадьи попеременно опускались и поднимались нагруженные породой. Скрипели блоки, снизу доносились глухие удары.

Бухнул колокол.

— Обе-едать!—закричал кто-то звонко.

Из шахты стали подниматься люди. Заступала новая смена.

От толпы вдруг отделился один, весь в глине, мокрый. Нерешительно остановился.

— Бать!

Семен вздрогнул, узнал сына. Хотелось броситься к нему, попростому поцеловать. Но вместо этого, старик, подделываясь под равнодушный вид, холодно проговорил:

— Проходил недалеко, зашел. Дай, думаю, посмотрю. Оказывается—ты тут...

Сын видел, что отец фальшивит, но ничего не сказал. Замолчал и старик. Неловко стояли и пыхтели папиросами.

Вдруг Васька спохватился:

— Чего ж мы стоим? Пойдем в барак, чаю попьем.

Зашли в крохотную комнатушку.

— А Настя у тебя где?—спросил старик.—Чай, по-новому разошелся?

— Ну-у, что ты! На работе она сейчас, лебедчицей. Ударница, конечно.

Не понял Семен, что такое «лебедчица» и «ударница», но переспрашивать не стал.

— А ты... ты не коммунист еще?—с затаенным беспокойством спросил старик. Не знал он еще толком, что это за коммунисты, но слышал, что в бога они не веруют. А раз в бога не веруют—значит, нехристи.

— Нет еще, пока только готовлюсь,—ответил сын.

Старик опять ничего не понял, но невольно взглянул в угол, где должно было висеть иконам. Но там ничего не было. Заглянул Семен украдкой за перегородку—и там было пусто в углу.

— Та-ак...—промычал он. И больше ничего не сказал. Не находил нужных слов.

В комнату неожиданно впорхнула Настя и, увидев Семена, удивленно остановилась.

— Ну, что буркалы выпучила?—поднялся старик.—На меня не смотри, я все такой же. Посмотри лучше вон ту́да,—Семен ткнул пальцем в угол.—Чай, опять твоя работа?

И, ни слова больше не сказав, нахлобучил шапку и вышел за дверь.

8

Старик заболел. Через день его трепала самая злая лихорадка. Валялся он под козьими овчинами на холодной печи, голодный, всеми забытый. Только верный пес Шарик день и ночь чутко дремал у порога.

Много передумал за это время старик. В глубине души он жалел, что опять так поступил у сына.

— Вот ужо схожу к нему опять, поправлюсь только,—решил он.

Но болезнь не проходила.

Ночью, когда жар маленько проходил, все равно не было старику покоя. К самой избушке повадился подлетать филин, садился на старый лиственничный пень и начинал свой истерический стон и хохот. Раз выполз Семен за дверь и выпалил в филина самым большим волчьим зарядом. Но филин как ни в чем не бывало улетел и на другую ночь опять ухал под самым окном.

По вечерам голодный Шарик открывал лапой дверь, забирался на крышу погреба и, задрав морду на полную луну, выл протяжно, жутко...

— Ужли покойника чует?—беспокоился старик. Но увидев, что Шарик воет, поднимая морду вверх, решил:

— Кажись непохоже, чтобы к покойнику. Скорей всего—к пожару.

А то раз, когда, не зная куда деваться от страшной внутренней жары, Семен валялся на грязном полу, в углу вдруг появилась огненно-рыжая баба. Заплетала и расплетала она свои огромные косы и хохотала, хохотала...

Очнувшись, Семен долго крестился и шептал:

— Свят, свят, свят...

9

Поздней ночью неожиданно пришел Васька. В темноте привычно прошел в угол, где висела лампа, зажег ее. И тут ему сразу бросился в глаза тот беспорядок, который царил в избе.

— Что с тобой, бать?—спросил он тревожно.

Старик опять рассердился. До этого он совсем уже решил при встрече с сыном поговорить по душам, расспросить о его новой жизни, посоветоваться. Но вместо этого какой-то комок бешенства вместе со слезами подкатил к горлу, гневом и обидой захватил дыхание.

— Что с тобой!.. Что с тобой!.. А где ты раньше был, дорогой сынок?! Ну, что молчишь? Иди, чтоб я тебя больше не видел! Иди! Иди вон!!!

Но Васька, поднявшись, пошел не к дверям, а к отцу. Тихо положил руку на лоб.

— Ну! Ну!—закричал старик.—Не лезь ко мне со своей пакостной рукой!

— Лихорадка?—спросил спокойно Васька.—В больницу тебя везти надо. А глупостей, пожалуйста, не говори. Никуда я от тебя не пойду. А не приходил я раньше потому, что не знал о твоей болезни. Сейчас, конечно, не оставлю.

Семен сразу как-то обмяк.

— Что ты, что ты, как же это так—в больницу! Да отродясь такого в нашей родне не бывало, чтобы в больницу. Зарежут там, отравят... Я уж как-нибудь так...

— И думы такие оставь. Сейчас пойду за подводой, к утру вернусь. А ты ложись и спи.

Васька свое слово сдержал. На восходе солнца приехал на телеге, наполненной мягким мхом. Заботливо уложил старика и, взяв коня под уздцы, осторожно повел вперед. Семен впал в забытье. Перед глазами плыли синие, красные и зеленые круги. Казалось ему, что давно-давно уже плывет он в лодке по бурной таежной речушке и что волнами немилосердно качает и трясет лодку. Потом, как сквозь сон, слышал он гул голосов и чей-то спокойный бас:

— Дело плохо. Лихорадка и воспаление легких.

10

В конце мая после холода и дождей неожиданно установилась жаркая погода. Появились тучи оводов. Они проникали в больницу, сотнями ползали по окнам, наполняли всю палату жужжаньем. Сиделки по три раза в день сметали их в ведра, но количество оводов от этого нисколько не уменьшалось.

— Ну и сила!—удивлялись все.—Откуда только они прут? И неужели здесь всегда так бывает? Заедят...

— И заедят!—авторитетно подтверждал в таких случаях Семен. Он уже настолько поправился, что мог ходить по палате и охотно вступал во всевозможные споры.—Тайга—она многолюдства да разной там техники не любит. Так уж от веку заведено, что человек в тайге должен жить в одиночестве, тихо. И жили. Сотни лет так-то жили. А теперь что? Каждый мальчишка,—от горшка два вершка, а туда же: «нам ништо нипочем!» Э-эх! Тоже... ерои!.. От одного гнуса из тайги удерут.

Семен любил выступать в защиту старой таежной жизни, злословить по поводу неудач на прииске. Но странное дело: все меньше и меньше чувствовал он злобы за поруганную девственность тайги, все слабее и неубедительней становились его слова. А однажды, когда пытаясь воскресить у себя былую злобу против машин, гудков и электрических проводов, вытирая рукавом вспотевший лоб, он спорил со своим соседом по койке, за спиной неожиданно появился Васька. Старик вдруг осекся на полуслове и сделал вид, что считает разговор оконченным.

А когда Васька ушел, Семен снова начал разговор:

— Ты думаешь затем я спорю, что непонутру мне эта проволока на столбах да свет лектрический? Не-ет, паря. По мне так пущай хоть всю тайгу проволокой опутают, дело это не плохое. Пусть и дома разные и больницы строят—тоже хорошо. Я вот, к примеру, без больницы, наверняка, подох бы в своей избушке. Да куда ни шло—пусть даже заводят разные там машины и сверлят землю. Но вот, братец, не могу я сразу ко всему этому привыкнуть. Чай, век доживаю и никогда даже не думал, что может такое получиться. Думы были о другой совсем жизни. А тут вон что получается... Так то!..

11

Вечером врач сказал Семену:

— Завтра тебя выпишем из больницы.

Семена уже давно беспокоил вопрос: а сколько же с него возьмут за леченье? И сейчас он настороженно ждал, что вот-вот врач заговорит о плате. Но тот, ничего больше не сказав, ушел.

Утром сиделка записала что-то в книгу, отдала одежду.

— Все,—сказала она.

Но Семен не уходил и ждал, когда же она скажет, наконец, про плату.

— Можете итти домой,—повторила сиделка.

Старик, ничего не понимая, вышел на улицу.

— Это как же будет-то?—спросил он у сына.—Деньгами платить надо за леченье аль отрабатывать? А то я вижу, что в больнице доктора ровно хитрят, про плату ничего не говорят.

— И не скажут ничего, бать, потому что лечили тебя бесплатно. Денег никаких не надо. А вот насчет работы—это ты верно. Становись к нам на работу. Будешь хорошо работать—заживешь лучше, чем жил раньше.

— Сын и тот хитрит,—подумал с горечью Семен.—Бесплатно! Какой же дурак поверит, что два месяца меня лечили и кормили бесплатно! Ухаживали. От смерти спасли. И—за спасибо. Видно отрабатывать придется.

Посидел Семен, попыхтел трубкой и сказал сыну:

— Ладно, поработаю до осени. А дальше не могу. Сам знаешь, охота осенью начинается, белковать надо.

12

В шахте было темно. Семен растерянно стоял посреди квершлага, не зная, что делать, куда итти.

— Ну, что стоишь, старикан!—окликнул его проходящий мимо него рабочий гигантского роста, с рыжей бородой. Не знаешь куда итти? Двигайся за мной, ко мне в спарщики тебя приписали.

Семен послушно побрел за незнакомцем, поминутно спотыкаясь, хватаясь за гранитные выступы.

Шагов через сотню свернули в штрек и скоро уперлись в тупик.

— Приехали!—сказал Семену его спутник.—В забое раньше, чай, не работал? То-то! Будешь, значит, проходить, сейчас науку. Перво-наперво запомни: будешь ты называться теперь откатчиком.

— Откатчиком? Это что ж за должность такая?

— Руду, значит, будешь откатывать. Звать-то тебя как?

— Семеном.

— Ну, прозовут теперь тебя Сеней-откатчиком, так и знай, у нас так заведено. Меня вот, к примеру, зовут Ваней-откатчиком, батьку моего звали Федей-откатчиком. Старику уже было лет под шестьдесят, внуков имел, а ему какой-нибудь карапуз:— «Эй, Федя!..»

— Значит, от имени своего отказываться надо? Вроде как собаке, кличку дадут?..

— Ха-ха-ха! Ну и чудак же ты. Да кому оно надо. твое имя? Называйся ты хоть папой римским. У нас тут, знаешь, все молодежь, ну и по-простецки...

И Иван опять звонко рассмеялся. А потом вдруг резко оборвал.

— Ну, хватит лясы точить, работать надо. Берись-ка за лопату да будем набрасывать руду в вагонетку. Набросаем полную—покатим на майдан. Оттуда возьмем пустые и—опять за лопату. Вот и вся наша работа.

— Ну, лопатой-то меня не запугаешь,—проворчал Семен.—Сызмальства к ней привычны.

13

Осень подкралась как-то неожиданно. Ударили крепкие утренники, пожелтел осинник. А еще через пару дней на юг с курлыканьем потянулись первые косяки журавлей.

Семен все чаще и чаще среди работы останавливался в раздумьи. Осень тревожила сердце, звала в тайгу.

— Заяц, поди, начинает белеть...—шептал он.—Молодые рябчики на писчик идут. В брусничниках сейчас они...

— Ты чего бормочешь?—окликнул его Иван.

— Не понять вам того,—мрачно ответил Семен.—Не знаете вы таежной, охотницкой жизни. Вы вот заладили одно: план да план. А мне, может, уже надоело под землей работать, на вольный воздух хочу, в тайгу, в сопки. Ты вот подумай-ка только: заберешься другой раз на такую сопку, что в какую сторону ни глянешь—на полсотни верст видно. А тайга это у тебя под ногами шумит, шумит...

— Так увольнялся бы да и шел в свою тайгу.

— Увольнялся бы! А ты вот попробуй, уволься. Перво-наперво сын старым дурнем обзовет. Каждый парнишка будет пальцем показывать и говорить «летун». А какой же я летун? А что касаемо Сергея Викторовича, начальника, так тот и говорить ничего не будет, только рукой махнет. А по-моему так ты меня лучше матом покрой, только этак рукой не махай. А то выходит, что я вроде как негодный, никчемный рабочий.

— Да, причин у тебя к тому, чтобы остаться, много,—засмеялся Иван.

— Ясно немало!—вспылил Семен.—И зубы тут скалить нечего.

Сердито ворочал руду, с грохотом бросал ее в пустую вагонетку. Не знал куда девать какую-то непонятную злобу, которая распирала сердце.

14

Начальник говорил коротко, но понятно:

— Третий квартал подходит к концу, а у нас большое отставание по уходу. Почему мы отстаем? Прежде всего, конечно, потому, что нехватает рабочей силы. Второе—еще низка у нас трудовая дисциплина. Какой из этого надо сделать вывод? Укрепить трудовую дисциплину, поднять производительность труда. Это сейчас—главное.

— До конца третьего квартала остается 12 дней. За это время нам надо пройти 90 метров.

— Девяно-осто...—протянул кто-то.

Семен медленно вышел из клуба. По привычке глянул на солнце—не мог никак привыкнуть к часам—и усмехнулся: солнце совсем не резало глаза, как это бывало летом. Тяжелым, остывающим золотым слитком висело оно над тайгой, вот-вот готово потухнуть.

— Осень...—прошептал старик.

Тихо плыли в воздухе серебристые паутинки, нехотя, медленно кружась, опадали с деревьев желтые листочки, в небе перекликались отлетающие гуси.

Семен зашел в барак, взял ружье, сунул за пазуху краюху хлеба и зашагал в сопки. Дойдя до перевала, сел на камень и в нерешительности смотрел то на прииск, раскинувшийся у его ног, то на тайгу, молчаливо и величественно застывшую по ту сторону хребта. А когда солнце краем своим коснулось далекой сопки, старик медленно, словно в раздумьи, поднялся и, воровато оглядываясь по сторонам, пошел по знакомой тропинке к ухожью...

15

Избушка Семена заросла травой и наполовину развалилась. Из открытой двери, как из погреба, пахнуло сыростью. Сквозь дыру в окне метнулся бурундук.

Семен зажег найденную на печке лучину и долго стоял посреди избы, не двигаясь. Шептал:

— Восемь лет тут прожито... Восемь лет...

Потом решил затопить печку. Но как ни старался—ничего не получилось. Дым не шел в трубу.

— Засорилась труба,—решил старик.—А, может и сова в трубе гнездо сделала.

И он вдруг вспомнил те жуткие вечера, когда он в беспамятстве валялся на печке, а под окном стонал и хохотал филин. Семену вдруг стало страшно, так страшно, что в пору было хоть убегать. Но выйдя за дверь, он успокоился. Попрежнему тиха была ночь и величественна тайга.

— Почистить разве трубу?—вслух спросил сам себя старик. Но лезть на крышу, да еще ночью, не хотелось.

— Ну да ниче,—еще раз ободряюще сказал он вслух.—Ночь просплю и в нетопленной хате. Не привыкать.

И нарочно громко кашляя, чтобы только вспугнуть гнетущую тишину, старик лег на полати. Но сон не шел.

— А Васька, чай, думает, что на охоту на уток я ушел,—подумал он. И незаметно для себя стал думать: пройдут в шахте за 12 дней 90 метров или не пройдут?

— Не пройдут!—решил он.

А внутри чей-то голос подсказал:

— Конечно, не пройдут... если так... как ты... разбегаться начнут...

В сердце шевельнулось что-то такое, от чего хотелось закрыть глаза и ничего не думать.

— А какое мне до этого дело!—чуть не крикнул Семен.

Но другой голосок продолжал:

— Товарищей в трудный момент оставил... сына...

Это уже было против таежных обычаев.

Вдруг под окном заухал Филин. Семен вздрогнул.

— Шарик вот тогда еще выл...—проговорил он.—А сейчас нет Шарика. Сдох...

И вдруг он почувствовал, что вся его прежняя одинокая жизнь в тайге, уход с прииска—одна глупость. В уме выплывали слова слышанные от Васьки:

— В теперешнее время не так надо жить!

Филин с дерева перелетел на трубу, но теперь Семен его не слышал. Он, шевеля губами, рассчитывал:

— Сейчас уже—часа четыре утра. В шесть—вторая смена. Значит, если нажать как следует, то можно еще попасть во время. Если во время не попаду—прогул запишут. Но самое главное—день рабочий пропадет. А за день что можно сделать!

И, забросив за плечо ружье, Семен быстро зашагал в сторону прииска, забыв даже закрыть в избушке дверь.

Вспугнутый филин на минуту затих, а потом опять залился хохотом. Медленно поднималась примятая сапогами трава...

16

Как Семен не торопился—на смену он все же опоздал. Стволовый—безусый белобрысый парень—только что спустил последнюю клеть с рабочими и теперь, развалившись на каких-то досках, тянул:

...Гармонисту перво счастье:
Вьются кудри у ево...
А еще второе счастье:
Любят девушки ево...

— Опоздал я малость, земляк,—ласково начал Семен.—Так ты уж тово... спусти-ка меня.

— Не велено спускать в шахту опоздавших!—отрезал парень и опять затянул свою песню.

— Ну, да один-то раз можно, чай, впервые это со мной.

— А вот прогул запишут, тогда узнаешь «впервые».

Глаза у старика вдруг налились кровью.

— Поговори у меня еще! Душу выколочу! Спускай!!

Парень испуганно вскочил.

— От дурак,—плюнул он.—Думаешь боюсь я тебя? Заниматься только неохота, а то я б тебе показал... Ну, да становись в клеть, чего уж там...

Семен залез в клеть и вдруг увидел: недалеко от копра Настя привычно управляла лебедкой. Платок сбился у нее набок, русая прядь волос на солнце отливала золотом. Она задорно чему-то улыбалась.

Глядя на нее, веселую, молодую, Семен вдруг почувствовал необычайный прилив сил, какую-то радость.

— Э-эх, равно молодость вторая приходит, что ли?—проговорил старик. И, сложив ладони рупором, крикнул:

— Работаешь?

— Работаю!—ответила Настя и сказала еще что-то, махнув рукой.

Но Семен не расслышал: клеть дрогнула и стремительно стала падать вниз.

А. ТОРГАНСКИЙ

НА ЗАВОДЕ

Пропел гудок, затихло эхо,
Блеснул в окошки луч и вот
С веселым говором и смехом
Вошли рабочие в завод.
Завод молчал, машины спали,
Висели плети приводов,
И только зайчики плясали
На скользких лысинах станков.
Но вот и семь,
Пора начать,
Промчался звон,
Рычаг в руках,
Под гулкий говор шестерен
Раздался звон маховика.
И снова шум,
И снова гул,
Глухое чоканье и стук,
Как будто в море ветер дул
И била в бубен сотня рук.
Шуршат ремни,
Стучит станок,
Визжит сверло,
Кусает сталь.
И стружка завилась в спираль
И опустилась в желобок.
А из окон текут лучи
Широким розовым потоком,
И маховик в углу стучит,
Сверкая вымасленным боком.

РОЖДЕНИЕ УТРА

Ночь. Тишина пушистая,
В сочной траве дремала;
Воздух густой и душистый
Над зеленями замер.
В просеках туч косматых,
В небе зеленоватом
Спелыми гроздьями
Висели звезды.
Душно. Трава вспотела,
Речка туманы пряла.
Лунное желтое тело
В липких листах застряло.
Серого неба корыто,
Чертили метеориты,
А у слюдистой реки
Булькали кулики.
Изредка клокотала
Птица в кустах ореха,
Ночь голубая глотала
Нежноголосое эхо.
В сочных густых камышах
Слышался лай лягушат,
А далеко в полях
Ботола звон гулял.

Ночь. И тихо сонная река
Выплеснула шорох ветерка.
И сырой, росистый ветерок
Подошел и лег на бугорок.
И на нем, немножко полежав,
Соскочил и в поле побежал
И с болотца по пути украл
Сочный холодок утра.
В деревеньке загудел петух,

Медный гул расплылся и потух.
И туман пушистой головой
Закачал над мокрою травой.
Посветлело. Вымытый восток
Розовый навязывал платок,
А усы зеленой темноты
Прятались под мокрые кусты.
Вышло утро. Лапою махнуло,
В небе светлом звезды потонули.
И над миром в голубых морях
Вскипятила золото заря.

Ноги стучали,
Брякали ведра,
Струи бренчали
О скользкие бедра.
Трубы дымили,
Гудели ухваты;
В печи ныряли
Горшки и лопаты.
С жалобным визгом
В дырявых грудях,
Кланялась низко
Кривая бадья.
Вышел пастух
И со всех дворов
Вылезли пестрые
Морды коров.
Голосом ржавым
Телеги запели,
Кони заржали
И засопели.
Вдруг, заглушая
Крики коров,
Даль оглашает
Рев тракторов.
Смело струится эхо в ответ,
Утру колхозному сея привет,
Стелется солнцев свет.

В ОЖИДАНИИ

Была ночь. Было тихо и было свежо.
Все уснуло, а мы не ложились,
У большого костра
Разместились в кружок
И колхозный овес сторожили.
Он—усатый, был собран
Со светлых полей,
Обмолочен, просушен, провеян,
Ссыпан в сотни шершавых,
Пахучих кулей,
Сложен в ряд—у реки на каменья.
И теперь он
Под нежное пение вод
Сладко спит, но не знает, что скоро
Грохоча, подойдет
Геркулес пароход
И его перетащит в город.
Было тихо, лишь слышался шум ветерка
Меж утесов—мохнатых и серых,
Да пониже
Чуть слышно скользила река
И чуть слышно чесалась о берег.
На пригорок залезла
Девчонка-луна
Распушила зеленые косы;
Где-то ухнула птица
И вновь тишина
Затопила реку и утесы.
Была ночь. Было тихо и было свежо.
Все уснуло, а мы не ложились,
У большого костра
Разместились в кружок
И колхозный овес сторожили.

СКАЗ ТАЕЖНИКА

(Из поэмы «Тайга и люди»)

Есть в тайге окаянное место;
Как попал туда—угробит,
Засосет в свое черное тесто,
Проглотит в сырую утробу.
Но еще, ребята, опасней,
Что на той на гнилой трясине
По ночам никогда не гаснет
Огонек ядовито-синий.
Он зовет, а придешь—так быстро
Клюнет в грудь, как змеиное жало,
Как смертельно голодный выстрел,
Как холодный укус кинжала.
И никто никому не охнет,
Где, в каком безыменном месте,
От такой окаянной мести
Твой скелет оголенный сохнет .
Только мать на твоих поминках,
Зерна слез собирая в горсти,
Вдруг зальется тоской:
— Ой, гости.
Знать в поганом болотном погосте
Схоронил свои кости сынко...
И закроет глаза косынкой.

ВЕЧЕРНИЙ ПЕЙЗАЖ

Сивенький старичок,
такой сивенький,
в морщинах,
в древних опорках,
сидит на задворках
в лощине
слюнявит корку.
А вечер такой красивенький,
вечер что надо
И пьет старичок сивенький
его радость.
И думает:
— Эко, ладно
На сердце старом
И машет рукой прохладной
даром.

Содержание

Отв. редактор *А. Н. Губанов.* Тех. редактор *М. Ф. Клинской.*
Корректор *Т. В. Расина.*

Сдано в набор 1/IX—1936 г. Подписано к печати 10/X—1936 г. Огиз № 848. Крайлит № 539. Бумага 62 × 94. Бумажных листов 5¼. Тираж 4000. Заказ № 2412.
Цена книги 3 рубля. Переплет 50 коп.

Г. Иркутск, тип. Огиза треста „Полиграфкнига"

3 р. 50 к.